

Г. М А И Н

УЧИТЕЛЬ

УНРАТ

*или*

К О Н Е Ц

ОДНОГО  
ТИРАНА



ГОСЛИТИЗДАТ

1937



ГОСАТІЗДАТ



ГОСАТІЗДАТ

HEINRICH MANN

PROFESSOR UNRAT  
oder  
DAS ENDE EINES TYRANNEN

*Roman*

1905

# I

Его фамилия была Раат, но вся школа называла его Унрат<sup>1</sup>. Ничто не могло быть проще и естественнее. Прозвище того или другого учителя время от времени менялось. В класс вливался новый поток учеников, они кровожадно открывали в преподавателе еще недостаточно оцененные предшественниками смешные черточки и безжалостно называли их своими именами. Унрат же носил это имя в продолжение многих поколений; весь город с ним свыкся, учителя пользовались им не только вне гимназических стен, но даже и в самой гимназии, стоило только Унрату отвернуться; его коллеги, державшие у себя дома пансионеров и поощрявшие их к прилежанию, говорили в их присутствии об учителе Унрате. Если бы какой-нибудь умник захотел наново присмотреться к наставнику шестого класса и заклеить его но-

---

<sup>1</sup> Унрат по-немецки — грязь, нечистоты, навоз.

вым прозвищем, из этого ничего бы не вышло; хотя бы уже потому, что привычная кличка действовала на старого учителя с такой же силой, как и двадцать шесть лет назад. Стоило кому-нибудь из гимназистов при его появлении на школьном дворе крикнуть:

— Как будто унратом пахнет?!

Или:

— Ого! Как унратом потянуло!

И старик вдруг резко вздергивал плечом, всегда правым, более высоким, и кидал из-под очков косой зеленый взгляд, по мнению школьников коварный; в действительности же он был пугливый и мстительный; взгляд тирана с нечистой совестью, который ищет кинжал в складках чужой одежды. Его деревянный подбородок с жиденькой бурой бородашкой прыгал вверх и вниз. Он не мог «уличить» кричавшего школьника и вынужден был молча пробираться дальше на своих тощих, искривленных ногах и в засаленной фетровой шляпе.

В прошлом году, во время его юбилея, гимназия устроила факельное шествие к его дому. Он вышел на балкон и произнес речь. И вот, когда все, задрав головы, смотрели на него, вдруг раздался неприятный сдавленный голос:

— В воздухе пахнуло унратом!

Несколько голосов сейчас же подхватили:

— Унрат в воздухе, унрат в воздухе!

Для учителя, стоявшего на балконе, это происшествие не было неожиданностью, и все же он начал заикаться; он смотрел каждому крикуну в широко открытый рот. Поблизости стояли учителя: он почув-

ствовал, что опять никого не может «уличить», но запомнил имена кричавших. На следующий же день обладатель сдавленного голоса не смог ответить на вопрос, в какой деревне родилась Орлеанская дева, что дало учителю повод заверить провинившегося, что он еще не раз станет ему поперек дороги. И действительно, этот Кизелак не был переведен весной в следующий класс. Вместе с ним на второй год осталось большинство школьников, кричавших в вечер юбилея, например, фон Эрцум. Ломан, хотя и не кричал, но тоже остался. Одни облегчали задачу Унрата ленью, другие недостатком способностей.

И вот поздней осенью, в одиннадцать часов утра, во время перемены, перед классным сочинением об Орлеанской деве, случилось следующее: фон Эрцум, все еще не познакомившийся ближе с Девой и предвидевший катастрофу, в приступе мрачного отчаяния распахнул окно и диким голосом крикнул наугад в туман:

— Унрат!

Он не знал, близко ли классный наставник, и это было ему безразлично. Бедный увалень, помещичий сынок, был просто захвачен потребностью хоть на мгновение дать волю своим легким, прежде чем засесть на два часа за пустой белый листок бумаги, который ему надлежало покрыть словами, взятыми из собственной головы, тоже пустой. Но Унрат как раз проходил по двору. Услышав крик из окна, он сделал неуклюжий скачок. Наверху в тумане он различил угловатые очертания фигуры фон Эрцума. Внизу никого из школьников не было; окрик фон

Эрцума мог относиться только к учителю. «На сей раз, — злорадно подумал Унрат, — он имел в виду меня. На сей раз я его поймал». В пять прыжков поднялся он по лестнице, распахнул классную дверь, промчался между партами и, вцепившись в кафедру, вскочил на ступеньку. Здесь он остановился, дрожа и с трудом переводя дыхание. Шестиклассники поднялись для приветствия, и неистовый шум мгновенно сменился оглушающей тишиной. Они взирали на своего наставника, как на опасное животное, которое, к сожалению, нельзя убить и которое в данный момент имело даже неприятное превосходство. Грудь Унрата высоко вздымалась; наконец, он произнес своим замогильным голосом:

— Мне здесь только что опять-таки снова крикнули слово одно — прозвище — так сказать имя, я не расположен это терпеть. Я никоим образом не потерплю подобного оскорбления от таких людей, в качестве каковых я, к сожалению, имел возможность узнать вас, заметьте себе это. Я доберусь до каждого из вас! Ваша испорченность, фон Эрцум, вызывает во мне глубокое отвращение, но она разобьется вдребезги о непреклонность решения, о котором настоящим имею довести до вашего сведения. Еще сегодня я доложу о вашем поступке господину директору и сделаю все, что в моей власти, — поистине верно, — чтобы гимназия была избавлена по крайней мере от гнуснейших подонков человеческого общества.

Сорвав с себя пальто, он прошипел:

— Садитесь!



Класс сел; только фон Эрцум продолжал стоять. Его толстое, покрытое веснушками лицо стало таким же огненно-красным, как щетина на его голове. Он хотел что-то сказать, несколько раз попытался говорить, но замолкал. Наконец, он выпалил:

— Это не я, господин учитель!

Много голосов поддержало его, самоотверженно и солидарно.

— Это не он.

Унрат топнул ногой.

— Молчать!.. А вы, фон Эрцум, заметьте себе, вы не первый, носящий эту фамилию, для которого я — конечно значит — окажусь существенной помехой на его жизненном пути, и если мне не удастся окончательно погубить вашу карьеру, то все же я рассчитываю, как в свое время дяде вашему, значительно вам ее осложнить. Вы хотите стать офицером, чеправда ли, фон Эрцум? Ваш дядя тоже этого хотел. Но ввиду того, что он никогда не мог достигнуть «цели класса»<sup>1</sup>, ему пришлось бы очень долго ждать аттестата зрелости, необходимого вольноопределяющемуся — именно, именно — так что он поступил в так называемую школу подготовки к военной службе, где также потерпел крушение, и только благодаря особой милости владетельного князя, в конце концов, получил доступ к военной карьере, да и то, кажется, вскоре был вынужден ее прервать. Так вот! Судьба вашего дяди, фон Эрцум, станет и вашей или очень похожей на вашу. Желаю вам в этом ус-

---

<sup>1</sup> Здесь подразумевается переход из класса в класс.

пеха, фон Эрцум. Мое мнение о вашей семье, фон Эрцум, неизменно в течение пятнадцати лет... А теперь...

Голос Унрата зазвучал, как из преисподней.

— Вы недостойны участвовать своим бездарным пером в описании возвышенного облика Девы, к которой мы сейчас переходим. Вон из класса, в курятник!

Медленно соображавший фон Эрцум все еще слушал. От напряженного внимания он бессознательно подражал тем движениям челюстей, какие делал учитель. Когда Унрат говорил, его нижняя челюсть с множеством желтых испорченных зубов, двигалась в деревянных складках рта, как на шарнирах, и брызги слюны долетали до передней парты. Он закричал:

— Вы еще имеете дерзость, мальчишка!.. Вон, говорят вам, в курятник!

Фон Эрцум очнулся и вылез из-за парты.

-- Дружище, да защищайся же!— прошептал Кизелак.

Люман глухим шопотом пообещал:

— Погоди, мы еще до него доберемся!

Осужденный пробрался мимо кафедры и направился в совершенно темное помещение, служившее классу гардеробной. Унрат даже застонал от облегчения, когда за увесистым парнем захлопнулась дверь.

— Теперь нам придется наверстать время, украденное у нас этим мальчишкой, — сказал он. — Ангст, вот вам тема. Напишите ее на доске.

Первый ученик поднес записку к своим близору-

ким глазам и медленно принялся писать. Все напряженно следили за возникающими из-под мела буквами, от которых так много зависело. Если темой окажется сцена, которую случайно не «готовили», значит будешь «хлопать ушами» и непременно «сядешь». И раньше, чем буквы на доске приобретали смысл, многие из суеверия шептали:

— О, господи, я сел!

Наконец, Ангст вывел на доске:

«Иоанна: Три мольбы вознес ты к небу. Внемли ж, дофин, тебе их повторяю я («Орлеанская дева», первое действие, десятое явление).

Тема: «Третья мольба дофина».

Все переглянулись. Потому что все «сели». Унрат всех «посадил». Криво усмехнувшись, он опустился в кресло, стоящее на кафедре, и принялся перелистывать свою записную книжку.

— Ну!— сказал он, не подымая глаз, как будто в задании все было совершенно ясно.— Что вы еще хотите знать?.. Итак, начинайте!

Большинство склонилось над тетрадами, делая вид, что пишет. Некоторые бессмысленно уставились в пространство.

— У нас есть еще час с четвертью, — сдержанно заметил Унрат, внутренне ликуя. До такой темы не додумался еще ни один из этих непонятно недобросовестных преподавателей, облегчавших этой банде разбор любой сцены драмы при помощи печатных руководств.

Некоторые из учеников помнили десятое явление

первого действия и приблизительно знали две первые мольбы Карла. Но о третьей они не имели ни малейшего понятия, как будто никогда о ней и не читали. Первый ученик и еще двое-трое, в том числе и Ломан, были даже уверены, что никогда о ней не читали. Ведь дофин заставил пророчицу повторить только две его ночные мольбы; этого было для него достаточно, чтобы поверить, что она послана богом. О третьей же мольбе там ничего не было. Очевидно, ее следовало искать где-нибудь в другом месте или как-то вывести из общего содержания драмы. Возможно также, что третья мольба дофина сбылась без всяких лишних разговоров, так что никому и невдомек, что сбылась какая-то мольба.

Даже первый ученик Ангст, и тот допускал про себя, что он мог кое-что проглядеть в драме. Как бы там ни было, но об этой третьей мольбе, да и о четвертой и о пятой, если бы Унрат того потребовал, необходимо было что-нибудь написать. Писать о вещах, в существование которых никто особенно не верил, исписывать известное количество страниц фразами на тему о верности долгу, о благотворном влиянии школы и о любви к военной службе,— на это их в течение многих лет натаскивали немецкими сочинениями. Тема ни в какой мере не занимала их, и все же они писали. Литературное произведение, из которого она возникла, в течение ряда месяцев служило одной только цели «посадить» их и поэтому всем основательно опротивело; и все же писали бойко.

Орлеанской девой класс занимался с пасхи, уже

три четверти года, второгодникам же она была известна еще с прошлой зимы. Ее читали вдоль и поперек, заучивали наизусть целые сцены, к ней давались исторические разъяснения, на ней упражнялись в стилистике и грамматике, стихи переделывали в прозу, а прозу в стихи. Для всех, чувствовавших при первом чтении сверканье и блеск ее стихов, они уже давно поблекли. В звуках этой разбитой шарманки, изо дня в день игравшей одно и то же, уже не различали мелодии. Никто уже не слышал чистого девичьего голоса, в котором был суровый и призрачный звон мечей, и шопот сердца, уже не защищенного панцирем, и шелест светло и грозно простершихся, широко раскинутых ангельских крыльев.

Юноши, которых впоследствии повергла бы в трепет почти знойная непорочность этой пастушки, те, которые полюбили бы в ней торжество бессилия и пролили бы слезы над величием девушки, покинутой небом и превратившейся в бедное, беспомощно влюбленное дитя,— теперь не скоро все это почувствуют. Может быть, лет двадцать понадобится им на то, чтобы Иоанна перестала быть для них просто заплесневелой педанткой.

Перья скрипели; ничем не занятый учитель Унрат скользил отсутствующим взглядом по склоненным затылкам. День считался хорошим, если ему удавалось «словить» кого-нибудь, особенно если это был один из тех, кто называл его «этим именем». Тогда

и весь год считался хорошим. К сожалению, вот уже два года он не мог добраться ни до одного из коварных крикунов. Это были скверные годы. Год считался хорошим или плохим в зависимости от того, удавалось ли Унрату «словить» кого-нибудь из учеников, или же никто из учеников не попадался на месте преступления.

Зная, что ученики обманывают его и ненавидят, Унрат и сам обращался с ними, как с заклятыми врагами, которых нужно как можно больше «сажать», мешая им достигнуть «цели класса». Проведя всю жизнь в школах, он был лишен способности смотреть на ребят и на их дела как бы издали, глазами взрослого, имеющего известный опыт. Он видел их чересчур вплотную, как видел бы школьник, внезапно облеченный властью и взнесенный на кафедру. Он мыслил и говорил их языком, пользовался их жаргоном, называл гардеробную «курытником». Он произносил свои речи в том стиле, каким говорили бы в подобных случаях сами школьники, а именно латинизированными периодами, пересыпанными множеством маленьких лишних словечек, вроде «конечно значит», «именно, именно», «итак, внимание», «поистине право», — привычка, выработавшаяся у него благодаря занятиям Гомером с восьмиклассниками: ибо никчемные словечки греков полагалось со всей неуклюжестью переводить на родной язык. Постарев и отяжелев, Унрат требовал такой же неподвижности и от питомцев гимназии. Он забыл, да никогда и не понимал потребности, присущей молодым организациям, мальчикам и щенятам равно присущей потреб-

ности бегать, шуметь, драться, причинять боль, за-  
тевать ссоры, бесцельно расходовать избыток сил и  
энергии. Наказывал он не с оговоркой взрослого че-  
ловека: «вы шалуны, как вам и полагается, но нель-  
зя же без дисциплины», — а всерьез, со стиснутыми  
зубами. Все происходящее в школе было для Унрата  
серьезно и реально, как сама жизнь. Лень прирав-  
нивалась к развращенности тунеядца, невниматель-  
ность и смех были неповиновением государственной  
власти, в треске хлопушки звучал призыв к револю-  
ции, «попытка ввести в заблуждение» прозвучала бес-  
честьем на всю жизнь. Каждый раз в таких случаях  
Унрат бледнел. Посылая кого-нибудь в «курытник»,  
он чувствовал себя самодержцем, отправляющим на  
каторгу мятежников, со страхом и торжеством ощу-  
щающим всю полноту своей власти и жуткое ко-  
пошение подтачивающих ее сил. Всем, однажды его  
задевшим и побывавшим в «курыльнике», Унрат ни-  
когда не прощал. Он служил в этой гимназии чет-  
верть века, весь город, вся окрестность были полны  
его бывшими учениками, теми, которых он «словил»,  
когда они выкрикивали его имя, и теми, которых он  
не мог «уличить», и все они и теперь называли его  
точно так же. Для Унрата школа не ограничивалась  
ее стенами, она простиралась на все здания города  
и на всех его жителей. Всюду сидели строптивные по-  
рочные мальчишки, «не вызубрившие урока» и стро-  
ившие учителю козни. Неискушенный новичок, в при-  
сутствии которого старшие неоднократно подсмеи-  
вались над учителем Унратом, как над забавным  
воспоминанием юности, попадая весной в его класс,

мог при первом же неправильном ответе услышать злобное шипение:

— У меня уже было здесь трое ваших. Я ненавижу всю вашу семейку.

Сидя на своем посту и возвышаясь над всеми головами, Унрат наслаждался мнимой безопасностью. А между тем в классе назревала новая беда. Виновником ее был Ломан.

Ломан быстро покончил с сочинением и перешел к своему личному делу. Но оно не двигалось с места: случай с его другом Эрцумом задел его за живое. Взяв на себя роль морального опекуна атлетически сложенного молодого аристократа, он считал для себя делом чести по мере возможности компенсировать умственную отсталость друга своим высоким развитием. Когда фон Эрцум собирался изречь какую-нибудь чудовищную глупость, Ломан, выразительно откашлявшись, подсказывал ему надлежащий ответ. Он оправдывал перед школьниками бессмысленнейшие ответы своего друга, уверяя, что фон Эрцум просто-напросто хотел «допечь» учителя.

У Ломана были черные, вздымающиеся шапкой волосы со спадающей на лоб меланхолической прядью. Он был бледен, как Люцифер, обладал эффектной мимикой, писал стихи в духе Гейне и был влюблен в тридцатилетнюю даму. Серьезно увлекаясь изучением литературы, он мог уделять школьным занятиям лишь очень малую долю времени.

Заметив, что Ломан принимается за учение только



в последнем квартале, учительский совет, несмотря на его всегда, в конечном счете, удовлетворительные отметки, дважды оставлял его на второй год. Поэтому Ломан, как и его друг Эрцум, в семнадцать лет сидел вместе с четырнадцати- и пятнадцатилетними. И если фон Эрцум имел вид двадцатилетнего, благодаря своему физическому развитию, то Ломан казался старше своих лет, потому что на нем была печать духа.

Какое впечатление должен был производить на такого Ломана деревянный паяц на кафедре, этот одержимый навязчивой идеей болван? Когда Унрат вызывал его, Ломан нетерпеливо отрывался от своих далеко уносивших его от окружающего книг и, наморщив широкий, изжелта-бледный лоб, презрительно наблюдал из-под полуопущенных век жалкую жесточенность вопрошающего, пыль, вьешуюся в его кожу, и осыпанный перхотью воротник его сюртука. Потом он переводил взгляд на собственные полированные ногти. Ломана Унрат ненавидел, пожалуй, больше, чем других, за его холодное упорство и, может быть, даже за то, что тот никогда не называл его этим именем; он смутно угадывал тут намерение, еще более обидное. Ломан мог отвечать на ненависть жалкого старика только равнодушным пренебрежением. К этому примешивалась и некоторая доля брезгливого сострадания. Но оскорбление, нанесенное фон Эрцуму, он счел за личный вызов. Из тридцати учеников только Ломан воспринял, как подлость, сделанное Унратом перед всем классом жизнеописание дяди фон Эрцума. Нельзя слишком

много позволять этому чучелу там, наверху. И Ломан решил. Он поднялся, оперся руками о парту, с любопытством взглянул учителю прямо в глаза, словно готовясь произвести интересный опыт, и аристократически небрежно продекламировал:

— Я не могу больше работать, господин учитель, здесь отвратительно пахнет унратом.

Унрат привскочил в кресле, заклинаяще простер руку и беззвучно задвигал челюстями. Он этого не ожидал,— ведь он только что пригрозил одному негодяю исключением. Как быть? «Словить» и этого Ломана? Он страстно этого желал. Но действительно ли он «уличен»? В этот напряженнейший момент маленький Кизелак высоко поднял свою синюю лапу, щелкнул пальцами с обгрызанными ногтями и сдавленно провизжал:

— Ломан мешает думать! Он все время говорит, что здесь пахнет унратом!

Раздалось хихиканье, некоторые зашаркали ногами. Унрат почувствовал на своем лице дыхание бунта. Его охватила паника. Вскочив со стула, он начал судорожно жестикулировать над пюпитром, как бы отражая бесчисленные атаки, и закричал:

— В курятник! Все в курятник!

Спокойствие не восстанавливалось.

Унрат решил, что спасти его может только чрезвычайное мероприятие. Неожиданно для Ломана он кинулся к нему, схватил его за руку, дернул и, задыхаясь, крикнул:

— Вон! Вы недостойны находиться в человеческом обществе!

Раздосадованный Ломан со скучающим видом направился к выходу. Унрат подтолкнул его и попытался отшвырнуть к двери в гардеробную; но это ему не удалось. Ломан старательно отряхнул то место, к которому притронулся учитель, как бы очищая его от пыли, и прехладнокровно направился в курятник. Унрат обернулся, ища Кизелака, но тот проскользнул за его спиной и, гримасничая, шмыгнул в карцер. Первому ученику пришлось разъяснить учителю, где находится Кизелак, после чего Унрат незамедлительно потребовал, чтобы класс больше ни на мгновение не отвлекался от Орлеанской девы.

— Что же вы не пишете? Осталось только пятнадцать минут. А незаконченные работы я — конечно значит — проверять не буду!

После этой угрозы большинство утратило всякую способность соображения, и на лицах отразился испуг. Но Унрат был слишком взволнован, чтобы этому по-настоящему радоваться. В нем кипело желание сокрушить всякое еще возможное сопротивление, в корне пресечь все будущие злодеяния, нагнать на всех безгласный трепет, водворить кладбищенскую тишину. Три бунтовщика были изгнаны, но ему казалось, что от их раскрытых на партах тетрадей все еще веет духом возмущения. Он поспешно собрал эти тетради и вернулся к кафедре.

Работы фон Эрцума и Кизелака представляли набор неуклюжих, корявых фраз, — свидетельство благих намерений. В работе Ломана прежде всего поражало отсутствие «плана», т. е. подразделения на А, В, С, а, в, с, и 1, 2, 3. Кроме того, он написал

только одну-единственную страницу; Унрат прочел ее с возрастающим гневом.

«Третья мольба дофина (Орлеанская дева, 1, 10).

Юная Иоанна, с неожиданной для ее лет и крестьянского происхождения ловкостью, проникает при помощи фокусов ко двору. Она излагает дофину основное содержание молитвы, которую он прошедшей ночью возносил к небу, и своим умением читать чужие мысли производит, естественно, огромное впечатление на невежественную знать. Дофин обратил к небу три мольбы, но в пьесе речь идет только о двух. До третьей дело не доходит, ибо дофин не требует дальнейших доказательств. К счастью для Иоанны, потому что третья вряд ли была ей известна. Ведь уже говоря о первых двух, Иоанна исчерпала все, о чем дофин мог просить своего бога, а именно: если это расплата за неискупленные грехи его предков, то пусть в жертву будет принесен он, а не его народ; и если уж он должен лишиться страны и короны, пусть ему оставят, по крайней мере, покой, друга и возлюбленную. От главного, от власти, он тем самым уже отказался. О чем же еще мог он молиться? Не будем долго думать: он этого и сам не знает. Иоанна тоже не знает, Шиллер—тоже. Поэт ничего не утаил из того, что ему было известно, и все-таки прибавил: «и так далее». В этом и заключается вся тайна, и для того, кто хоть сколько-нибудь знаком с мало серьезной натурой поэта, тут нет ничего удивительного».

Точка. Это было все. Унрата охватила дрожь, и его осенило: устранить это от ученика, спасти че-

ловечество от такой заразы гораздо важнее, чем исключить простоватого фон Эрцума. Он бросил взгляд на следующую, почти вырванную страницу, на которой тоже было что-то нацарапано. Но в тот момент, как он понял, что это такое, по его лицу как бы прошло розовое облако. Он захлопнул тетрадь, торопливо и воровато, словно ничего не видел, снова открыл ее, поспешно сунул под другие две и тяжело задышал в мучительной борьбе. Он понял: пора. Этого необходимо «словить». Человек, который дошел до того, чтоб эту—конечно значит—артистку Розу... Розу... Он в третий раз схватил тетрадь Ломана. Раздался звонок.

— Сдавайте,—крикнул Унрат, полный мучительного страха, что какой-нибудь не закончивший работы ученик может в последний момент добиться удовлетворительной отметки. Первый ученик собрал тетради; некоторые устремились к двери гардеробной.

— Прочь отсюда! Ждать! — закричал Унрат в припадке нового страха. Охотнее всего он залер бы дверь и продержал негодяев под замком, пока бы их гибель не была обеспечена. Но это не делалось так быстро; необходимо действовать с ясной головой. Ломан ошеломил его своей чудовищной испорченностью.

Младшие ученики в сознании своих поправных прав осаждали кафедру.

— Наши вещи, господин профессор!

И Унрат оказался вынужденным освободить «курятник». Из толчеи один за другим выбрались три изгнанника; они уже были в пальто. Ломан, едва переступив порог, догадался, что его тетрадь попала в руки Унрата, и скучаяще пожалел об излишнем

усердии старого болвана. Возможно, что теперь родителю его придется побеспокоить себя и поговорить с директором!

Фон Эрцум только приподнял рыжеватые брови на лице, которое его друг Ломан называл «пьяной лунной». Но Кизелак еще в «курятнике» приготовился к самозащите:

— Господин профессор, ведь я не говорил, что пахнет унратом. Я только сказал, что он все время повторяет...

— Молчать! — крикнул Унрат, дрожа всем телом.

Он подергал шеей, взял себя в руки и приглушенно добавил:

— Ваша судьба повисла — конечно значит — у вас над головой. Идите!

Они пошли обедать, и у каждого над головой висела его судьба..

## II

Унрат тоже пообедал и прилег на диван. Но как всегда, едва он задремал, экономка уронила в соседней комнате посуду. Он вскочил и снова схватил тетрадь Ломана. При этом он покраснел, как будто впервые читал написанную в ней непристойность. Тетрадь перестала плотно закрываться, так часто ее разгибали в том месте, где находилось «Посвящение вдохновенной артистке фрейлен Розе Фрелих». Под заглавием было несколько зачеркнутых строчек, затем пропуск и наконец

Распутна ты, в том нет сомненья,

Но ты артистка хоть куда!

А в интересном положении...

Очевидно, шестиклассник еще не нашел рифмы, но условная форма в третьей строке говорила об очень многом. Она заставляла предполагать, что тут не обошлось без участия Ломана. Подтвердить это было, быть может, задачей четвертой строки. Унрат так же безнадежно пытался отгадать эту отсутствующую четвертую строку, как его класс — вспомнить третью мольбу дофина. Казалось, что этой четвертой строкой Ломан издевался над Унратом, и он боролся с Ломаном со все возрастающей страстностью, стремясь во что бы то ни стало доказать ему, что, в конце концов, он все-таки сильнее. Уж он его «сло-вит».

В голове Унрата роились еще неоформившиеся планы будущих действий. Они не давали ему покоя. Накинув старый плащ, он вышел. Шел мелкий, холодный дождь. Опустив голову, с заложенными за спину руками и ядовитой усмешкой в уголках губ, пробирался он по лужам предместья. Ему встретилась только телега с углем и несколько ребятишек.

На двери угловой мелочной лавки висела афиша городского театра: Вильгельм Телль. У Унрата обмякли колени. Озаренный внезапной догадкой, он приблизился... Нет, имени Розы Фрелих на афише не было. Тем не менее, указанная особа, возможно, служит в этом учреждении. Возможно, что господин Дреге, лавочник, повесивший на своей двери эту афишу, осведомлен в таких делах. Он уже взялся за ручку двери, но испуганно отдернул руку и отошел. Спрашивать об артистке на своей же улице! Нет! Он не может игнорировать страсть к сплетням, кото-

рой одержимы эти не искушенные в классической премудрости низы общества. Чтобы разоблачить ученика Ломана, следует взяться за дело искусно и осторожно.. И Унрат свернул на аллею, ведущую в город.

Если это удастся, то Ломан в своем падении увлечет за собой фон Эрцума и Кизелака. Унрат не хотел пока докладывать директору о том, что его называли этим именем. Само собой должно выясниться, что виновные в том ученики способны и на любой другой безнравственный поступок. Унрат знал это: он убедился на примере собственного сына.

У него был сын от вдовы, которая в ранней молодости снабжала его средствами для окончания образования, за что он, согласно уговору, женился на ней, как только получил должность; она была костява и сварлива и давно умерла. Сын был несколько не красивее отца, — к тому же одноглазый. Тем не менее, когда он студентом приезжал в родной город, его видели в обществе подозрительных женщин. Но если он, с одной стороны, прожигал деньги в дурном обществе, то с другой стороны, он не меньше четырех раз проваливался на государственном экзамене; так что он мог еще, конечно, стать полезным чиновником, но только на основании своего выпускного свидетельства. Значительная пропасть отделяла его от высшей породы людей, сдавших государственный экзамен. Унрат, раз навсегда порвавший с сыном, находил все это вполне естественным; более того; он почти предвидел это, после того как подслушал однажды, как сын в разговоре с товарищами назвал его, своего отца, этим именем.



Теперь можно было надеяться, что подобная же участь постигнет Кизелака, фон Эрцума и Ломана, в особенности Ломана. К последнему она уже подкрадывалась, по милости этой артистки Розы Фрелих. Унрату нетерпелось отомстить Ломану. Те двое почти терялись рядом с этим человеком, его независимыми манерами и сострадательным любопытством, с каким он смотрел на учителя, когда тот гневался. Что это вообще за ученик... Унрат размышлял о Ломане со сверлящей ненавистью. Под островерхими городскими воротами он внезапно остановился и произнес вслух:

— Такие — самые отъявленные!

Ученик — это серое, безответное, коварное существо, не имеющее иной жизни, кроме школьной, и постоянно находящееся в состоянии скрытой войны с тираном, — таков Кизелак; или это дюжий придурковатый детина, которого умственное превосходство тирана держит в состоянии вечной растерянности, — таков фон Эрцум. Но Ломан, тот, кажется, просто сомневается в тиране. В душе Унрата кипела обида: подобное оскорбление испытывает скудно оплачиваемый начальник, когда перед ним, щеголяя изящным костюмом и позвякивая деньгами, бахвалится его подчиненный. Внезапно он понял: все это наглость, и больше ничего. То, что Ломан всегда опрятен, носит чистые манжеты и что-то из себя корчит, — наглость. Сегодняшнее сочинение, приобретенные этим учеником вне школы знания, самым предосудительным из коих является эта артистка Роза Фрелих, — наглость. И то, что Ломан никогда не назы-

вал его этим именем, — тоже наглость, — Унрату теперь это стало до очевидности ясно.

Он прошел мимо домов с остроконечными фронтонами до конца круто уходящей вверх улицы, дошел до церкви, вокруг которой хозяйничал ветер, и, плотно запахнувшись в свой плащ, снова спустился вниз. Он свернул в переулок и нерешительно остановился около одного из первых от угла домов. С обеих сторон двери висели деревянные витрины, и за их проволочными сетками виднелись афиши; анонсировавшие «Вильгельма Телля». Унрат прочел их, сначала одну, потом другую. Наконец, он, робко озираясь, вошел в подворотню и ступил в открытый вестибюль. Ему показалось, что за окошечком у лампы сидит человек, но от волнения он не мог его разглядеть. Он не был здесь больше двадцати лет и страдал от опасений, от которых страдает суверен, покинувший свои владения: его могут не узнать, по незнанию обойтись с ним без должного уважения, заставить его почувствовать себя простым смертным.

Он постоял некоторое время перед окошком, тихонько покашливая. Ничего не дождавшись, он постучался кончиком искривленного указательного пальца. Голова вскинулась и тотчас же высунулась из окошечка кассы.

— Что вам угодно? — хрипло спросил человек.

Сперва Унрат только пошевелил губами. Они смотрели друг на друга, он и отставной актер с сизым лицом и приплюснутым кончиком носа, на котором торчало пенсне. Наконец, Унрат сказал:

— Вот как! Значит вы ставите Вильгельма Телля. Это очень правильно.

— Если вы думаете, что мы делаем это для собственного удовольствия...

— Но я этого вовсе не думаю, — заверил Унрат, охваченный страхом перед возможными осложнениями.

— Никакого сбора. Но по контракту с городом мы обязаны ставить и классические спектакли.

Унрат счел нужным представиться.

— Я, видите ли, профессор Ун... профессор Раат, наставник шестого класса здешней гимназии.

— Очень приятно... Моя фамилия Бломберг.

— И я охотно посетил бы со своим классом постановку какого-нибудь классического произведения.

— Замечательно, господин профессор! Эта новость чрезвычайно обрадует директора нашего театра, — нисколько не сомневаюсь.

— Но, — и Унрат поднял палец, — это должна быть поистине одна из тех драм нашего Шиллера, которые мы проходим в классе, — именно, именно — Орлеанская дева.

Актер поджал губы, опустил голову и снизу вверх, печально и укоризненно взглянул на Унрата.

— Чрезвычайно жаль. Видите ли, эту драму нам пришлось бы разучить заново... Вас безусловно не устраивает Телль? Ведь он тоже весьма подходящ для юношества.

— Нет, — решительно возразил Унрат. — Ни в коем случае. Нам нужна Орлеанская дева. И кроме того, — итак, внимание...

Унрат перевел дух, его сердце колотилось.

— Дело, главным образом, в исполнительнице роли Иоанны. Это должна быть вдохновенная артистка, которая — именно, именно — в состоянии познакомиться учеников с возвышенным обликом Орлеанской девы.

— Конечно, конечно, — сказал актер с видом глубочайшего понимания.

— И я подумал об одной из ваших артисток, о которой я — надеюсь, не без основания — слышал наилучшие отзывы.

— Ах, в самом деле!

— Я имею в виду фрейлен Розу Фрелих.

— Как? Как? Простите!

— Розу Фрелих! — и Унрат затаил дыхание.

— Фрелих? Но у нас нет такой.

— Вы это наверное знаете? — бессмысленно спросил Унрат.

— Простите, я ведь в своем уме.

Унрат не решался больше смотреть на него.

— Тогда я просто не могу...

Кассир пришел ему на помощь.

— Очевидно, тут какое-то недоразумение.

— Ну да, конечно! — подтвердил Унрат с детской признательностью. — Простите, пожалуйста!

И попятился к выходу, низко раскланиваясь.

Кассир оторопел; придя в себя, он крикнул:

— Но, господин профессор, это ведь не мешает нам договориться. Сколько же вы возьмете билетов, господин про...

У двери Унрат еще раз оглянулся; его искаженное от страха лицо гримасничало в улыбке.

— Простите, пожалуйста, простите!

И он исчез.

Незаметно для себя он спустился по улице и очутился в порту. Вокруг него раздавались тяжелые шаги грузчиков, таскавших мешки, рабочие с громкими возгласами подымали их в склады. Пахло рыбой, смолой, нефтью, спиртом. Вдали на реке мачты и трубы уже затягивались сумерками. Унрат шел среди этой суматохи, вновь вспыхивающей перед наступлением ночи, и в голове у него сверлило: «словить» Ломана, найти местопребывание артистки Фрелих.

Какие-то господа в английских костюмах, сновавшие вокруг с накладными, толкали его, грузчики кричали ему: «берегись!» Эта спешка заразила и его; он не успел опомниться, как уже нажал ручку двери, над которой была вывеска «Контора по вербовке моряков» и еще какая-то шведская или датская надпись. На полках лежали свернутые канаты, матросские сухари и небольшие, остропахнущие бочки. Попугай прокричал: «Дун-супен»<sup>1</sup>.

Несколько матросов пили; другие, засунув руки в карманы, разговаривали с огромным рыжебородым человеком. Великан выбрался из облаков табачного дыма, заволакивающих заднюю часть помещения, стал за прилавок, так что жестяной рефлектор стен-

---

<sup>1</sup> Дурак, олух.

ного фонаря отбросил яркий луч света на его лысую голову, оперся лапами о край прилавка и спросил:

— Что угодно, сударь?

— Дайте мне,— небрежно потребовал Унрат,— входной билет в летний театр.

— Что такое? — удивился великан.

— Ну да, в летний театр. Вы ведь вывесили объявление, что продаете билеты в летний театр.

— Как это понимать, сударь? — и от удивления он широко разинул рот.— Ведь зимой летний театр закрыт.

Но Унрат настаивал:

— Объявление висит в окне.

— Пускай себе висит.

Но выпалив это, вербовщик снова проникся почтением к господину в очках. Он подыскивал доводы, которые убедили бы этого приезжего, что летний театр закрыт. Чтобы помочь себе в этой деликатной задаче, требовавшей большого умственного напряжения, он нежно поглаживал прилавок чудовищной, покрытой рыжими волосами, рукой. Наконец, он придумал:

— Так ведь самый глупый мальчишка в школе знает,— добродушно сказал он,— что зимой нет летнего театра.

— Позвольте, любезный, — надменно остановил его Унрат.

Великан позвал на помощь.

— Генрих! Лоренц!

Матросы приблизились.

— Не понимаю, что с ним такое: он прямо-таки рвется в летний театр.

Матросы жевали табак. Вместе с вербовщиком усталились они на Унрата с таким напряжением, как будто он прибыл нивесть откуда и был чем-то вроде китайца, которого необходимо понять. Унрат это почувствовал и заторопился.

— В таком случае не можете ли вы, по крайней мере, сказать, не играла ли в прошлом году в означенном театре некая фрейлен Фрелих, Роза Фрелих.

— Откуда мне это знать, сударь? — Вербовщик был совершенно сбит с толку. — Уже не думаете ли вы, сударь, что я вожусь с циркачами?

— Или, быть может, вам известно, — поспешно продолжал Унрат, — не порадует ли нас упомянутая дама — именно, именно — своими выступлениями этим летом?

Вербовщик казался испуганным; он не понимал больше ни слова. Наконец, один из матросов догадался:

— Он просто смеется над тобой, Питер, вола крутит.

И залпрокинув голову, он оглушительно захохотал, икая и захлебываясь, широко разинув черную пасть. Остальные матросы, подталкивая друг друга, последовали его примеру. Вербовщику не казалось, что чужестранец над ним издевается, но, боясь уронить свой авторитет перед клиентами, — этими людьми, которых он поставлял на суда вместе с сухарями и джином, — он немедленно изобразил приступ ярости, налился кровью, ударил кулаком по столу и повелительным жестом указал на дверь.

— Сударь! У меня и своего дела довольно. Нечего зам валять дурака. Вот она дверь, у вас за спиной.

И так как оглушенный Унрат не двинулся с места, великан выказал намерение выйти из-за прилавка. Унрат поспешно открыл дверь. Попугай пронзительно крикнул: «Дун-супен!» Матросы рычали, надрываясь от смеха. Унрат захлопнул дверь.

Он быстро свернул за угол и вышел из порта на тихие улицы. Он обдумывал случившееся.

Это была ошибка, это была — конечно значит — ошибка.

Актрису Фрелих следовало искать другими путями. Унрат присматривался к встречавшимся ему людям, не знают ли они чего-нибудь об артистке Фрелих. Это были носильщики, служанки, ламповщик, газетчица. Сговориться с простым народом невозможно, он знал это по опыту. К тому же недавнее приключение призывало его к осторожности в обращении к незнакомым. Разумнее осмотреться и поискать знакомое лицо. Такой человек как раз вынырнул из соседнего переулка. Еще в прошлом году Унрат с остервенением вколачивал в него латинские стихи. Этот школьник, никогда не «зубривший» уроков, как видно, стал учеником в магазине. Он приближался с папкой писем в руке и выглядел настоящим франтом. Поравнявшись с ним, Унрат уже открыл было рот. Он ждал только поклона молодого человека. Но его не последовало. Бывший ученик насмешливо посмотрел учителю в глаза и прошел мимо, едва не задев слишком высокое плечо Унрата. На его светлом лице блондина до ужаса широко расплывалась усмешка.



Унрат поспешно устремился в переулок, из которого тот вышел. Это была одна из улочек, спускавшихся к порту, более крутая, чем другие, излюбленное место сборища бесчисленной детворы, которая скатывалась с крутизны в маленьких премящих тележках, с круглыми деревянными чурками вместо колес; матери и служанки, стоя на тротуаре, размахивали руками и звали ужинать, но детишки продолжны нестись вниз, кто стоя на коленях, кто болтая ногами в воздухе, с развевающимися шарфами, нахлобученными на уши шапками, с разинутыми от восторга ртами. Переходя улицу, Унрат вынужден был прыгать из стороны в сторону, лавируя между тележками. Вокруг него взлетали брызги грязи. Вдруг из пронсящейся мимо тележки провизжал пронзительный голосок:

— Унрат!

Он вздрогнул. Крик немедленно подхватили и другие. Очевидно, эти питомцы народной школы узнали его имя от гимназистов, непосвященные же кричали просто за компанию. Унрату пришлось подниматься по крутой улице среди бушевавшего вокруг него урагана. Задыхаясь, добрался он до соборной площади.

Все это было ему давно знакомо: и бывшие ученики, которые не кланялись, а презрительно улыбались, и уличная детвора, кричащая ему вслед его имя. Но сегодня он в своем рвении с этим не считался, потому что теперь люди обязаны были дать ему ответ. Если раньше они никогда не знали своего *Виргилия*, то теперь они обязаны знать, по крайней мере, что-нибудь об артистке *Фрелих*.

Он дошел до рынка и прошел мимо табачной лавки, владелец которой двадцать с лишним лет назад был его учеником. Иногда Унрат покупал у него ящичек сигар,— только иногда: он мало курил, редко выпивал, у него не было ни одного из обычных пороков. Счета свои этот субъект регулярно надписывал: господину профессору У — и потом У переделывал на Р. Унрат так и не знал, было ли то злым умыслом или рассеянностью. Но у него не хватило мужества войти в лавку, на порог которой он уже поставил ногу. Лавочник был строптивым учеником, которого в свое время никак не удавалось «словить».

Унрат устремился дальше. Дождь перестал, ветер разогнал тучи. Газовые фонари мигали красными огоньками. Над остроконечной крышей дома то-и-дело выглядывал желтый полумесяц: ехидный глаз, так быстро исчезающий за прищуренным веком, что насмешника невозможно было «уличить».

Когда Унрат вышел на главную улицу, перед ним ярко вспыхнули большие окна кафе «Централь». Он почувствовал желание войти и против обыкновения выпить что-нибудь. Сегодня он был так странно выбит из колеи. В кафе, несомненно, удастся разузнать об артистке Фрелих, ведь там говорили обо всем.

Он знал это из прежнего опыта; при жизни жены он иногда — очень редко, впрочем — разрешал себе провести часок в кафе «Централь». С тех пор, как она умерла, он пользовался покоем дома и не нуждался больше в кафе. К тому же эти посещения отравлялись новым владельцем, тоже бывшим гимна-

зистом, вернувшимся после долгого отсутствия в родной город. Он самолично обслуживал своего бывшего учителя и с такой изысканной вежливостью именовал его профессором Унратом, что «уличить» его было абсолютно невозможно. Гостей это очень развлекало, и у Унрата создалось впечатление, что, заходя он чаще, он стал бы своего рода рекламой для этого заведения.

Итак, он повернул в другую сторону и стал размышлять, куда бы ему обратиться со своим вопросом. Но так ничего и не придумал. Все всплывшие в его памяти знакомые лица имели такое же выражение, как у того приказчика, его ученика. Освещенные магазины так же, как табачная лавка и кафе, скрывали мятежных учеников. Унратом овладел гнев. Он почувствовал усталость, его мучила жажда. Он бросал из-под очков на лавки и на двери домов с фамилиями бывших гимназистов взгляды, которые его ученики называли ядовитыми. Все мальчишки вели себя вызывающе. И актриса Фрелих, скрывающаяся в одном из этих домов, отвлекающая учеников «посторонними делами» от занятий и ускользающая от его власти, тоже вела себя вызывающе. Иногда на дощечке мелкакала фамилия того или иного учителя, и Унрат раздраженно отворачивался. Один из них назвал его этим именем перед его же классом, и то, что он тут же поправился, ровно ничего не меняло. Другой видел на ярмарке его сына с некоей женщиной и разнес это по всему городу. Окруженный со всех сторон врагами, крался Унрат по улицам. Он скользил вдоль домов, ощущая какое-то напряжение в темени: из

любого окна в любой момент могло обрушиться на него это имя, как выплеснутый на голову ушат помоев. А он не увидел бы крикуна и не смог бы его «словить». Вокруг Унрата бушевал мятежный класс в пятьдесят тысяч учеников.

Он бессознательно обратился в бегство и укрылся в отдаленную, глухую часть города, где в конце длинной тихой улицы находился приют старых дев. Здесь было совершенно темно. Мимо прошмыгнуло несколько существ в коротких «мантильях», — платки окутывали их с головой. Это возвращались из гостей или с вечерней службы запоздавшие обитательницы приюта; они воровато дергали звонок и, как тени, таяли в дверях. Летучая мышь описывала зигзаги над самой шляпой Унрата. Он думал, косясь на город:

— Ни одного, ни одного-единственного человека.

Он сказал:

— Я еще доберусь до вас, банда.

Но чувствуя свое бессилие, он задрожал от терзающей его ненависти; ненависти к этим тысячам ленивых, злобных учеников, никогда не выполняющих заданной работы, постоянно называющих его этим именем, думающих только о бесчинствах; теперь они еще досаждают ему этой актрисой Фрелих. Они не выдают ее и Ломана, а ведут себя словно строптивый класс, в котором все «заодно» против учителя. В этот момент все они сидят дома за ужином, а его заставляют бродить по городу и вообще, — он внешне это почувствовал, — они превратили его чорт знает во что, за долгие годы его пребывания среди них они сделали из него нечто неподобающее.

Он, видевший в продолжение двадцати шести лет всегда одни и те же коварные мальчишеские лица, не подозревал, что придет время, и вне школы эти лица, при упоминании об учителе Унрате, выразят полнейшее равнодушие, а со временем так даже и расположение. Ослепленный постоянной борьбой, он не удосужился понять, что даже, называя его в глаза этим именем, взрослые обитатели города делали это не из желания его оскорбить, а из привязанности к воспоминаниям юности, казавшимся им теперь безобидно забавными; что для всех в городе его фигура была исполнена комизма и что в иных этот комизм будил известную нежность. Он не слышал разговора двух учеников одного из самых старших своих выпусков, остановившихся на углу и смотревших ему в след, как ему казалось, с насмешкой:

— Что это творится с Унратом? Стареет.

— И становится все грязнее.

— Ну, чистым я его никогда не знавал.

— Вы просто забыли. Когда он был младшим учителем, он был довольно опрятен.

— Вот как! Что делает имя. Я даже не представляю себе его опрятным.

— Знаете, что я думаю. Он тоже себе не представляет. Против такого имени никто долго не устоит.

### III

Унрат снова ринулся вверх по тихой улочке: у него вдруг возникла мысль, правильность которой он хотел немедленно, да, немедленно, проверить. Его

внезапно осенило: Роза Фрелих — та самая танцовщица-босоножка, вокруг которой подняли столько шуму. Она должна была приехать и выступить в зале «Общества единомыслящих».

Унрат совершенно отчетливо вспомнил, как об этом рассказывал учитель Виткопп, член общества; он подошел к стенному шкафчику в учительской, отпер его, спрятал туда пачку ученических тетрадей и сказал:

— К нам приезжает знаменитая Роза Фрелих, исполняющая босиком греческие танцы.

Унрат отчетливо видел перед собой Виткоппа, — как он важничал, как тщеславно косился из-за своего пенсне и вытягивал губы, произнося: Роза Фрелих. Он несомненно сказал: «Роза Фрелих». Унрат слышал все четыре гласные в манерном произношении Виткоппа и его картавое Р. Почему не вспомнил он об этом раньше? Конечно, босоножка Фрелих уже приехала, и ученик Ломан вступил с ней в связь. Теперь-то он «словит» их обоих.

Он добрался до Зибенбергштрассе и уже наполовину прошел ее, как вдруг перед одной из витрин с прохотом спустились жалюзи, и Унрат остановился уничтоженный. Витрина принадлежала торговцу музыкальными принадлежностями Кельнеру, продававшему в подобных случаях билеты и знавшему все подробности. Было похоже на то, что Унрату сегодня уже не удастся настичь эту пару, за которой он гнался.

Несмотря на это, мысль пойти домой и поужинать была ему невыносима. Он был охвачен страстью

охотника. Он решил сделать последний обход. На Розмаринвег он остановился, совершенно потрясенный, перед покосившейся стертой лесенкой. Крутые ступеньки вели к узкой двери с вывеской: «Иоганн Риндфлейш, сапожный мастер». Выставки не было; в обоих окошках за стеклом стояли цветочные горшки. И Унрат пожалел, что счастливая звезда давно не привела его сюда, в обитель честного и незлобивого тернгуртера, не оскверняющего уста бранью, не делающего оскорбительных гримас, — сапожник не преминет дать ему сведения об артистке Фрелих.

Он открыл дверь. Зазвенел колокольчик, и его гостеприимный звук долго носился в воздухе. Чисто прибранная мастерская была попружена в полумрак. В обрамлении открытой в соседнюю комнату двери в мягком свете лампы вырисовывалась группа: семья сапожника за ужином. Подмастерье жевал тут же, рядом с хозяйской дочкой. Мать накладывала младшим детям картошку к колбасе. Отец подвинул к лампе глузатую бутылку темного пива, поднялся и вышел к заказчику.

— Добрый вечер, господин профессор! — Он, не торопясь, дожевал кусок и продолжал: — Чем могу служить?

— Да... — пробормотал Унрат. Неуверенно улынувшись, он потер руки и тоже сделал глотательное движение.

— Извините, — продолжал сапожник, — что здесь уже темно. Мы кончаем работу ровно в семь. Остаток вечера принадлежит богу. Кто засиживается за работой, того господь лишает своего благословения.

— Это, с одной стороны, вполне правильно,—проямлил Унрат.

Сапожник был на голову выше посетителя. У него были костлявые плечи, но под кожаным фартуком отчетливо выделялось круглое брюшко. Седеющие, слегка масляные кудри окаймляли его длинное тусклое лицо, которое заканчивалось клинообразной бородкой и тихо улыбалось. Риндфлейш все время перебирал пальцами на животе.

— Но, с другой стороны, я пришел не затем... — объяснил Унрат.

— Господин профессор! добрый вечер, господин профессор! — сказала с порога жена сапожника и присела. — Иоганн, что ты стоишь там с господином профессором в потемках? Будьте любезны, зайдите в комнату, господин профессор, не взыщите, что застали нас за колбасой.

— Помилуйте! Что вы, голубушка!

Унрат решил на жертву.

— Мастер Риндфлейш, я бы не хотел нарушать ваш отдых, но я проходил мимо, и мне пришла в голову мысль, что вы — итак, значит внимание — могли бы снять мне мерку для ботинок.

— К вашим услугам, господин профессор! — И женщина снова присела. — К вашим услугам!

Риндфлейш поразмыслил и потребовал лампу.

— Что ты? Тогда нам придется есть в потемках, — весело сказала жена. — Нет, уж заходите, господин профессор, я зажгу для вас свет в голубой комнате.

Она прошла вперед в комнату, где было очень хо-



лодно, и зажгла в честь Унрата две нетронутые розовые свечи, отразившиеся в зеркале вместе с гофрированными розетками подсвечников и двумя большими раковинами. Вдоль выкрашенных в ярко голубой цвет стен празднично-торжественно расположилась прадедовская мебель красного дерева. На покрытом вязаной скатертью диванном столике благоговяюще простирал свои фарфоровые руки Христос.

Унрат подождал, пока фрау Риндфлейш вышла. Когда за ней закрылась дверь и сапожник очутился в его власти, он приступил к делу.

— Итак, значит, мастер, теперь вы должны доказать, к удовольствию господина уч... к моему удовольствию, что вы можете справиться не только с мелкой починкой, но и сшить пару хороших башмаков.

— О да, господин учитель, о, о да! — ответил Риндфлейш, смиренно и старательно, как первый ученик.

— Правда, у меня уже есть две пары, но при этой сырой погоде не мешает иметь лишнюю пару хорошей теплой обуви.

Стоя на коленях, Риндфлейш снимал мерку. Он держал в зубах карандаш и только мычал.

— Зато, с другой стороны, в это время года в городе обязательно появляется что-нибудь — вот именно — по части духовных развлечений. Ведь и в них человек нуждается.

Риндфлейш поднял глаза.

— Повторите это еще раз, господин профессор. Да, о да, человек в них нуждается. И наш братский орден это учитывает.

— Так, так! — сказал Унрат. — Но я имею в виду гастрологи выдающихся личностей, знаменитостей.

— Я тоже имею их в виду и наш орден тоже, господин профессор. Завтра вечером он созывает братьев на молитву с участием одного миссионера, знаменитости. Да, о да...

Унрат видел, что добраться до актрисы Фрелих не так-то легко. Он подумал немного и, не найдя окольного пути, пустился напрямик.

— В «Обществе единомыслящих» скоро тоже появится — именно, именно — знаменитость. Артистка — вы, конечно, как и все, слышали о ней, мастер.

Риндфлейш молчал, и Унрат страстно ждал ответа. Он был убежден: все, что ему нужно, скрывается вот в этом человеке у его ног, надо только из него все это вытянуть. Об артистке Фрелих печатали в газете, говорили в учительской, ее имя было вывешено в витрине Кельнера. Весь город знал о ней, кроме одного только Унрата. Каждый обладал большим знанием жизни и людей, чем он: это убеждение бесосознательно, но глубоко жило в душе Унрата, ни на минуту не сомневался он в том, что сапожник-гернгутер сумеет дать ему сведения о танцовщице.

— Она танцует, мастер. Она танцует в «Обществе единомыслящих». Ну и народу же сбегится!

Риндфлейш кивнул головой.

— Люди и сами не знают, куда бегут, — сказал он глухо и многозначительно.

— Ведь она танцует босиком, это редкостное искусство, мастер.

Унрат не знал, как еще воспламенить сапожника.

— Подумайте только: босиком!

— Босиком! — повторил сапожник. — Да, о да... Так плясали и амаликитянки, плясавшие вокруг идолов. — И он хихикнул, единственно из чувства смирения, ибо он, невежда, осмелился украсить себя словами священного писания.

Унрат страдальчески ерзал на стуле, словно слушал перевод мямлившего, готового «срезаться» ученика. Наконец, он стукнул по ручке кресла и вскочил.

— Так перестаньте же возиться, мастер, и скажите мне — итак, значит, вперед — приехала ли уже босоножка Фрелих. Вам это, конечно, известно.

— Мне, господин учитель? — Риндфлейш опешил. — Мне? Про танцовщицу?!

— От этого вас бы не убыло! — нетерпеливо заверил Унрат.

— Да будут далеки от меня духовная гордыня и самообольщение. Я ведь не отказываюсь возлюбить во господе мою босоногую сестру, господин профессор, о да, и молиться, чтобы господь поступил с ней не иначе, чем с грешницей Магдалиной.

— Грешницей? — надменно спросил Унрат. — Почему же вы считаете артистку Фрелих грешницей?

Сапожник целомудренно вперил взор в начищенный пол.

— Ну конечно! — возразил Унрат, все более недовольный мастером. — Если бы ваша жена или дочь вздумали вести жизнь артистки, в этом — конечно, значит — было бы мало хорошего. Но разные круги, разные нравы... Впрочем, довольно!

И он сделал рукой движение, означавшее, что не годится в четвертом классе касаться предмета, который под силу разве только восьмиклассникам.

— Моя жена тоже грешница, — тихо произнес сапожник, сплетая пальцы на животе и подымая вверх покаянный взгляд. — И самому мне тоже надлежит взывать: Господи, господи! Ибо все мы грешны плотию.

На сей раз удивился Унрат.

— Вы и ваша жена? Но ведь вы же венчались!

— О да, конечно! И все же сие есть грех, и господь допускает это лишь...

Гернгутер готовился произнести что-то весьма важное. Его глаза округлились и посветлели от тайны.

— Ну? — снисходительно спросил Унрат.

И сапожник прошептал:

— Люди не ведают, что господь разрешает это только для того, чтобы иметь на небе побольше ангелов.

— Так, так, — сказал Унрат. — Это, конечно, замечательно.

И со сдержанной усмешкой поднял глаза на преображенное лицо сапожника.

Но он подавил насмешку и собрался уходить. Он начинал верить, что Риндфлейш действительно не знает ничего об артистке Фрелих. Сапожник спустился с облаков на землю и спросил, какие делать голенища. Бросив небрежный ответ, Унрат снисходительно, но торопливо простился с семьей Риндфлейш и быстро вышел.

Он презирал Риндфлейша. Он презирал голубую комнату, презирал умственную ограниченность этих людей, их смирение, их ханжескую экзальтированность и моральную косность. Дома у него тоже довольно убого, но зато, если бы на землю вернулись древние князья духа, он мог бы беседовать с ними на их собственном языке о грамматике их произведений. Он беден и непризнан; никто не знает, над каким важным делом он трудится в течение двадцати лет. Он проходит в толпе незамеченным, даже осмеянным, но сам он причисляет себя к власти имущим. Ни один банкир, ни один монарх не причастен к власти больше, чем он, и не больше его заинтересован в незыблемости существующего порядка. Он поднимается на защиту всякого авторитета, неистовствует в тиши своего кабинета против рабочих, которые, добившись своего, вероятно устроили бы так, чтобы и его труд оплачивался несколько лучше. Тех молодых учителей, еще более робких, чем он, с которыми он решается беседовать, он мрачно предостерегает от пагубного стремления современного духа потрясать основы. Он страстно жаждет их: могущественной церкви, карающего меча, слепого повиновения и нерушимых традиций. При этом он абсолютно неверующий и наедине с собой способен на крайнее свободомыслие. Но в качестве тирана он знает, как усмирять врагов, укрощать чернь, врага, пятьдесят тысяч строптивых, изводящих его учеников. Ломан, повидимому, уже успел вступить в связь с артисткой Фрелих. От этой мысли Унрата бросало в краску, так уж он был устроен. Но преступником

Ломан становился лишь потому, что, вкушая запретных радостей, он ускользал из-под ферулы строгого учителя. В Унрате говорила не суровость моралиста...

Он вошел в свою квартиру и на цыпочках прокрался мимо кухни, где разгневанная его опозданием экономка неумеренно гремела горшками. Получил ужин: колбасу и картошку, хотя и переваренную, но все же холодную. Однако Унрат не решился возражать. Эта девушка немедленно уперлась бы руками в бока. Она восстала бы против своего господина.

После ужина Унрат подошел к своей рабочей конторке. Приспособленная к его близоруким глазам, она была чересчур высока. От напряженного положения, в котором он писал в течение тридцати лет, одно его плечо было значительно выше другого. «Истинны только дружба и литература», — произнес он, как обычно. Подхватив где-то эти слова, он привык к ним и, приступая к работе, считал своей обязанностью мысленно их произнести. Что надо понимать под дружбой, он так никогда и не узнал. Это слово было случайным. Но литература! Ведь это был его заветный, давно зреющий в тиши труд, о котором люди ничего не знали и который, возможно, когда-нибудь, всем на изумление, расцветет на его могиле. Он был посвящен партикулам Гомера. Но лежавшая рядом тетрадь Ломана мешала ему сосредоточиться. Его все тянуло взять ее и вновь поразмыслить об артистке Фрелих. Было нечто, что его очень беспокоило; он

уже не был убежден в том, что знаменитую босоножку звали Роза Фрелих. Эта Фрелих могла оказаться, чем-то совсем другим. Да она и была чем-то совсем другим. Теперь Унрат был в этом твердо уверен. Ее необходимо найти, чтобы «словить» ученика Ломана. Он увидел себя снова отброшенным далеко назад в борьбе с этим дрянным мальчишкой и задышался от безмолвного возбуждения.

Вдруг он накинул на себя пальто и стремительно ринулся воц из комнаты. Входная дверь была уже заперта на цепочку; Унрат рванул ее, точно спасающийся бегством грабитель. Он слышал брань экономки и ее приближающиеся шаги. Охваченный страхом, он в решительную минуту сделал наугад правильное движение, дверь распахнулась, и он очутился в палисаднике, а затем на улице. До городских ворот он то бежал рысью, то шел скорым шагом. Потом сдержал себя, но сердце у него колотилось. Он чувствовал себя необычно, словно вступил на запретный путь. Он шел по пустынным улицам наудачу, никуда не сворачивая. Он заглядывал в переулки и улочки, останавливался перед гостиницами и подозрительно всматривался в окна, за спущенными занавесками которых мерцал свет. Он брел по теневой стороне; противоположная сторона улицы была залита ярким лунным сиянием. Ночь была звездная, ветер стих, и шаги Унрата гулко раздавались в тишине. У ратуши он свернул к рынку и прошелся под колоннадой. Арки, башни, фонтаны отбрасывали свои причудливые тени в лунную ночь. Унрата охватило необъяснимое волнение; он несколько раз пробормотал:

«Все же — конечно, поистине» — и «Итак, значит, вперед».

Он напряженно всматривался в каждое окно почты и полицейского управления. Но найдя невероятным, чтобы актриса Фрелих скрывалась в одном из этих зданий, он вернулся на только что покинутую улицу. В нескольких шагах от него сияло огромное окно кафе, в котором коллеги Унрата каждый вечер собирались за пивом. На занавеси вырисовывался темный силуэт учителя с острой бородкой и шевелящимся ртом. Это был пренебрежительный тип, который относился к Унрату без всякого уважения за то, что тот был косвенным виновником постоянных недоразумений в школе и который открыто возмущался его сыном. Унрат задумчиво рассматривал этого доктора Гюббенета; до чего же он нелеп со своей бороденкой и со своим пивным азартом, до чего же это пошлый обыватель. Унрат не имел ничего общего с этими людьми за окном, ровно ничего: теперь он осознал это с чувством удовлетворения. Вот сидят они все вместе в вожделенном благолепии, он же чувствовал себя, так сказать, взятым на подозрение, что называется, изгнанным. И мысль о тех там уже не была для него острым жалом. Он кивнул тени учителя, медленно и пренебрежительно, и продолжал свой путь.

Опять он вышел на окраину. Повернул обратно и направился на Кайзерштрассе. У консула Бретпота был, очевидно, бал: огромный дом сверкал огнями, непрерывно подъезжали экипажи. Выбегал швейцар, лакеи открывали дверцы, помогали гостям выходить. Через порог шуршали шелковые юбки. Какая-то дама



остановилась и, приветливо улыбаясь, протянула руку подходившему молодому человеку. Унрат узнал в красивом юноше в цилиндре молодого учителя Рихтера. Он слышал, что Рихтер имеет виды на богатую невесту из аристократической семьи. Обычно учителя не имели доступа в такие семьи. И прячась в темноте, Унрат потешался:

— Ну и честолюбец — поистине верно...

В своем забрызганном грязью пальто он издевался над всеми обласканным молодым человеком с блестящим будущим, подобно цинику-бродяге, который угрожающе смотрит из мрака на прекрасный мир и, словно бомбу, носит в себе гибель этого мира.

Сам он казался себе неизмеримо выше Рихтера, ему было весело. Он потихоньку посмеивался и бессмысленно твердил:

— Я еще сумею стать вам поперек дороги. Я — именно, именно — еще доберусь до вас, накрою, заметьте себе это.

Теперь у него было отличное развлечение. При виде дверной дощечки с фамилией какого-либо коллеги или бывшего ученика, он думал: «Вас я еще тоже «словлю», — и потирал руки. И он улыбался и воровато подмигивал почтенным домам с островерхими крышами, уверенный, что в одном из них скрывается актриса Фрелих. Как она взволновала, взбудоражила его, лишила спокойствия! Между ней и крадущимся за ней в ночной разведке Унратом установилась какая-то связь. Ученик Ломан был тоже дичью, так сказать, индейцем другого племени. Когда Унрат участвовал со своим классом в школьных прогулках,

ему иногда приходилось играть с гимназистами в солдат и разбойников. Он поднимался на холм, вздымал к небу кулак, командовал «держись крепче, — итак, значит, вперед!» и по-настоящему волновался во время последующей схватки. Потому что это было всерьез. Школа и игра — это жизнь... А сегодня вечером Унрат играет в индейца, выслеживающего врага.

Его охватывало все более жгучее нетерпение. Бесформенные тени вызывали в нем страх и сладостное любопытство. Каждый закоулок отпугивал и манил. В узкие переулки он пускался, как в приключение. Услышав шопот из окна, он остановился с бьющимся сердцем. Тут и там при его приближении тихо открывалась дверь, раз к нему протянулась облаченная во что-то розовое рука. Он бросился бежать весь в испарине и неожиданно очутился в порту, — второй раз за сегодняшний день, а ведь раньше он не бывал здесь по нескольку лет. В потоках лунного света темными башнями высились корабли, и Унрату вдруг представилось, что актриса Фрелих находится там и спит в каюте; на рассвете завоет сирена, и актриса Фрелих уплывет в далекие края. При этой мысли его жажда действовать, вмешаться стала неистовой. Грузно топая, подошли двое рабочих, справа и слева. Они сошлись около Унрата и один из них спросил:

— Ну, куда мы двинем, Клаус?

Другой сердито пробасил:

— Дун-супен.

Унрат задумался над этими словами: где он се-

годня их слышал и что они означают? За двадцать шесть лет он не научился понимать местного наречия. Он последовал за двумя пролетариями и неисследованными богатствами их лексикона через множество грязных переулков. В одном, несколько более просторном, рабочие, описав широкую дугу, причадили к большому дому, на огромных воротах которого, перед изображением голубого ангела, раскачивался фонарь. Унрат услышал музыку. Рабочие исчезли за дверью, один из них подпевал. Унрат заметил у входа пеструю афишку и начал ее читать. Это было объявление о «вечернем представлении». Дойдя до половины, он наткнулся на нечто такое, что вызвало у него кашель и испарину. Боясь и надеясь, что ошибся, он начал читать с начала. И вдруг сорвался с места и ринулся в дом, как в пропасть.

#### IV

«Прихожая» была колоссальной ширины и длины, настоящая честная прихожая старого бюргерского дома, в котором теперь «занимались посторонними делами». С левой стороны через приоткрытую дверь виднелся отблеск пламени; там гремели горшками. Над дверью справа была надпись «зал», и оттуда доносилась глухая сумятица звуков, из которой то-и-дело вырывался чей-то пронзительный визг. Унрат медлил открыть дверь; он чувствовал, что этот шаг чреват тяжелыми последствиями... Навстречу ему двигался очень толстый, совершенно безволосый человек с кружками пива. Унрат остановил его.

— Извините, пожалуйста, — пробормотал он. — Нельзя ли мне поговорить с артисткой Фрелих?

— О чем это вы собираетесь с ней говорить? — спросил толстяк. — Она теперь не разговаривает, а поет. Вот, послушайте!

— Вы, вероятно, хозяин «Голубого ангела»? Отлично. Я, видите ли, профессор Раат из здешней гимназии, я пришел из-за ученика, который должен здесь находиться. Не укажете ли вы мне, где он?

— Та-а-ак, господин профессор, валяйте в таком случае в актерскую. Эта молодежь постоянно там торчит.

— Вот видите! — строго сказал Унрат. — Я так и думал. Согласитесь, любезный, что это не годится.

— Та-а-ак! — и хозяин высоко поднял брови. — Ведь мне совершенно наплевать, кто оплачивает ужин девчонок. Господа даже вино потребовали, а нам только это и нужно. Если мне выталкивать в шею своих клиентов, то надо, чтобы кто-нибудь возместил мне убытки.

Унрат проявил сговорчивость:

— Что ж, стало быть, отлично. А теперь сходите-ка туда, дружище, и приведите мне этого мальчишку.

— Чорта с два! Ступайте-ка, сударь, сами.

Но приключенческий дух уже покинул Унрата; он сожалел, что открыл местопребывание артистки Фрелих.

— Придется пройти через зал? — испуганно спросил он.

— Конечно, а то как же? И оттуда в актерскую, видите окно с красной занавеской?

Хозяин проводил Унрата в глубь прихожей и указал ему на довольно большое окно, завешенное изнутри чем-то красным. Унрат попробовал заглянуть; но хозяин уже повернул со своим пивом к двери зала. Унрат поспешил за ним; умоляюще протягивая руки, он попросил с отчаянием в голосе:

— Прошу вас, вызовите мне ученика.

Хозяин уже вошел в зал; он сердито обернулся.

— Да которого же вам? Их там целая тройка в одной куче. Вот старый болван! — добавил он и ушел.

— Трое? — хотел переспросить Унрат, но вдруг и сам очутился в зале, оглушенный шумом, ослепленный горячими клубами пара, заставшего стекла его очков.

— Дверь! Дует! — услышал он чей-то голос. Он испуганно потянулся за ручкой, но не нашел ее. Раздался смех.

— Это он в жмурки играет, — произнес тот же голос.

Унрат снял очки; он увидел, что дверь уже закрыта, почувствовал себя в западне и начал беспомощно озираться.

— Дружище Лоренц! Да ведь это тот самый шут, что сегодня дурачил вербовщика! Помнишь?

Унрат не понял, он чувствовал одно: мятежная стихия окружает его и угрожает ему. Близкий к отчаянию, он вдруг заметил возле себя у столика свободный стул; оставалось только опуститься на него. Он приподнял шляпу и спросил:

— Разрешите?

Не дождавшись ответа, он сел. И мгновенно почув-

ствовал себя затерявшимся в толпе, спасенным от всеобщего мучительного внимания. Никто больше на него не смотрел. Снова заиграла музыка; его соседи стали подпевать. Унрат протер очки и сделал попытку притти в себя. Сквозь завесу табачного дыма, испарений человеческих тел и грога он видел бесчисленные, одурманенные одним и тем же тупым блаженством головы, раскачивающиеся в такт музыке. Лица и волосы были разных цветов: огненно-рыжие, изжелта-бледные, смуглые, кирпично-красные, и эти раскачивающиеся головы, отуманенные музыкой, были похожи на колышущуюся под ветром, огромную пеструю прядку тюльпанов, постепенно расплывающуюся в дыму. Там в дыму что-то сверкало, какое-то вихрем кружащееся существо, разбросанные ноги, плечи, руки, куски ослепительного тела, освещенные ярким рефлексом, широко открытый рот. Пение этого существа заглушалось роялем и голосами подпевавших гостей. Но Унрату и в самом облике этой особы мерещился истошный визг. Иногда она издавала крики, столь пронзительные, что никакой гром не мог бы заглушить их.

Хозяин поставил перед ним кружку пива и хотел уйти. Унрат удержал его.

— Итак, внимание, любезный! Стало быть, значит, эта певица — фрейлен Роза Фрелих?

— А то кто же? Она самая и есть. Наслаждайтесь, раз вы уже здесь.

И он отошел.

У Унрата, вопреки всякому здравому смыслу, мелькнула надежда, что это не она, что ученик Ломан

никогда и ногой не ступал в этот дом и что, следовательно, ему ничего не нужно предпринимать. Ему показалось вдруг вполне возможным, что стихи в тетради Ломана были всего лишь поэтическим вымыслом, не имеющим никакой связи с действительностью, а артистки Фрелих вовсе не существует. Унрат ухватился за эту призрачную мысль, дивясь, что она так поздно пришла ему в голову. Он отхлебнул пива.

— Ваше здоровье!— сказал сосед. Это был пожилой человек в шерстяной фуфайке и расстегнутом жилете, обтягивавшем его живот. Унрат долго его украдкой разглядывал. Сосед выпил свою кружку и бравым движеньем вытер мокрые изжелта-серые усы. Унрат решился.

— Ведь это, значит, поет фрейлен Роза Фрелих, не правда ли, любезнейший?

Но певица закончила номер, и раздались аплодисменты. Ему пришлось подождать, пока они стихнут, и повторить свой вопрос.

— Фрелих? — переспросил тот. — Да откуда ж мне знать, сударь, как зовут всех этих девчонок? Ведь их здесь кишмя кишит! Ежеминутно другая!

Унрат хотел укоризненно возразить, что это имя стоит на афише, но снова заиграл рояль, немного тише, чем раньше, и ему удалось разобрать несколько слов. Произнося их, пестрое видение поднимало юбку и лукаво и стыдливо прижимало ее к щеке.

Ведь я еще так мала и так невинна...

Какая чепуха,—подумал Унрат и при этом вспомнил тупой ответ соседа. В нем нарастало недовольство — чувство, что он занесен в мир, отрицающий его собственный, и поднимающееся из глубины души отвращение к людям, ничего не читающим, людям, слушающим концерт без предварительного знакомства с программой. Его точила мысль, что здесь собрались, может быть, сотни людей, которые были «невнимательны», не «рассуждали», а пьянствовали и без стыда и совести предавались самым вздорным «посторонним занятиям». Он отхлебнул пива. «Если бы они знали, кто я!»—подумал он при этом. Его настроение смягчилось, стало снисходительным, благодушным и несколько расплывчатым от горячих испарений человеческих тел. Мир расплывался в густом тумане, полном бесформенных видений... Унрат провел рукой по лбу, ему казалось, что женщина на сцене уже много раз пропела, что она «мала и невинна». Наконец, она кончила, и зал захлопал, зарычал, завопил, затопал ногами. И вдруг Унрат тоже несколько раз похлопал в ладоши, подняв руки к удивленно вззирающим на это глазам. Им овладело сильное, почти непреодолимое желание стучать об пол сразу обеими ногами. Он поборол себя, но испытанное им искушение не вызвало в нем гнева. Безмятежно улыбаясь, он решил: «Таков — поистине — человек. Опять же значит, пощипывать травку... Ну, конечно!»

Певица спустилась в зал. Около сцены открылась дверь. Внезапно Унрат почувствовал, что оттуда на него кто-то смотрит. Один единственный человек



обратил к нему свое лицо; человек стоял выпрямившись и хохотал, и это был — ну, конечно, — это был Кизелак!

Убедившись, что это он, Унрат вскочил. У него было ощущение, как будто он на мгновение забылся, — и вот ученики уже использовали это для своих бесчинств. Перед ним плечо к плечу стояли два солдата, он протиснулся между ними и ринулся вперед. Группа рабочих не пропускала его. Один без лишних слов сбил с него шляпу. Унрат поднял ее, страшно испачканную, и снова надел. Кто-то крикнул:

— Ганс! Гляди! Вот так шляпа!

Кизелак хохотал, сгибаясь пополам в припадке безудержного веселья. Унрат опять рванулся вперед; его челюсти тряслись от страшного возбуждения. Но его удержали сзади. Он опрокинул заказанный матросом прог, и тот требовал, чтобы ему заплатили. Он уплатил. Перед ним открылось несколько шагов свободного пространства, и он кинулся туда, не спуская с хохочущего Кизелака глаз, полных ужаса перед человеческой испорченностью. Он налетел на что-то мягкое, — огромная толстуха, обнаженная под распахнувшимся коричневым манто, повернула к нему разгневанное лицо. Подскочил не менее роскошный мужчина, тщательно причесанный, но в одном только поношенном пиджаке, наброшенном поверх обтянутого трико, и начал ругаться. Оказалось, что Унрат толкнул тарелочку, в которую женщина собирала деньги, и они рассыпались. Кинулись подбирать; Унрат тоже нагнулся, растерянно, нелепо. Люди шар-

кали ногами у самой его головы, на него посыпались обвинения, ругань, проклятия, к нему протянулись было даже чьи-то дерзкие руки. Унрат выпрямился, весь красный, зажав в пальцах монету в два пфеннига. Тяжело дыша, обводил он невидящими глазами массу враждебных лиц. Во второй раз почувствовал он сегодня на своем лице порыв мятежного ветра. И он начал судорожно жестикулировать, как бы отражая бесчисленные атаки. Вдруг он увидел Кизелака; мальчишка лег на рояль, обхватив его обеими руками, и вздрагивал всем телом. Теперь Унрат даже слышал его смех. И его охватил панический ужас тирана, увидевшего, что в его дворец проникла чернь, и понявшего, что всё потеряно. В этот миг он был способен на любое насилие, границ для него не существовало. Он закричал гробовым голосом:

— В курятник! В курятник!

Видя, что Унрат приближается, Кизелак повиновался. Он юркнул в дверь около сцены. Не успев опомниться, Унрат тоже очутился за этой дверью. Он увидел красную занавеску и высунувшуюся из-за нее руку. Он хотел броситься к занавеске, но прыжок уже свершился. Заглянув в окно, он увидел бегущего к выходу по прихожей Кизелака. Впереди в подъезде он явственно различил еще одну улепетывающую фигуру; он еще успел узнать ее: граф Эрцум. Унрат вытянулся на цыпочках, но окно было слишком высоко. Он попытался влезть на подоконник. Вися на согнутых локтях, он услышал за спиной звонкий голос:

— Смелее, смелее! В общем, вы еще совсем молодчина!

Он неуклюже скатился с подоконника, обернулся. Перед ним стояла пестрая молодая особа.

В течение нескольких мгновений Унрат рассматривал ее; его челюсти беззвучно шевелились. Наконец, он произнес:

— Итак, значит, вы и есть артистка Фрелих?..

— Ну да!— сказала женщина.

Он это знал.

— И вы выступаете в этом заведении?

Он хотел, чтобы она подтвердила и это.

— Странный вопрос!— заметила она.

— Потому что...

Унрат поперхнулся; он указал рукой на окно, из которого выпрыгнули Кизелак и фон Эрцум.

— Скажите же мне... какое вы имеете на это право?

— Что такое?— удивленно спросила она.

— Ведь это школьники.

— Ну и что же? Мне-то какое дело?

Она смеялась. Унрат был страшен.

— Но вы отвлекаете их от школьных занятий и исполнения долга. Вы совращаете их!

Актриса Фрелих перестала смеяться. Она указала пальцем себе на грудь.

— Я? Вы, должно быть, нездоровы?

— Вы намерены это отрицать?— наскокивал Унрат в воинственном задоре.

— Для чего же? Славу богу, мне в этом нет нужды. Я ведь артистка! Уж не запретите ли вы мне принимать от мужчин цветы?

И она указала на угол, где по обе стороны туалетного зеркала стояли огромные букеты. Пожав плечами:

— Уж если и этого нельзя, вы... кто вы, собственно, такой?

— Я... я — учитель, — сказал Унрат с таким видом, словно он даровал миру скрижаль истины и благочиния.

— Ну, тогда, — примирительно сказала актриса, — тогда вам так же, как и мне, совершенно наплевать на то, что делают эти молодые люди.

Но подобной точке зрения не было места в голове Унрата.

— Советую вам, — сказал он, — вместе с вашей труппой покинуть этот город. Уезжайте немедленно, иначе, — он снова повысил голос, — я приложу все усилия, чтобы осложнить вашу карьеру, если мне не удастся окончательно ее погубить. Я — именно, именно — позабочусь, чтобы вами занялась полиция.

Лицо актрисы Фрелих мгновенно исказилось самым неудержимым презрением.

— Смотрите, как бы вам самому не пришлось иметь с ней дело! Похоже, что вы именно такой тип. С полицией у меня все в порядке. А вас мне просто жаль... Эх, вы!

Но в ней явно говорило не сострадание, а нарастающий гнев.

— И еще хорохоритесь! При вашей-то наружности!

Мало еще над вами смеялись?! Так отправляйтесь же себе в полицию! Вас там самого задержат. Ну и обращение же у этого человека! Ведь это же просто курам насмех, особенно если кто привык к обхождению кавалеров. А что, не натравить ли на вас одного из моих знакомых офицеров? Вас просто вздуют!

Теперь ее лицо действительно выражало веселое сострадание.

Унрат несколько раз пытался ее перебить. Но постепенно натиск ее воли загнал сложившиеся, готовые сорваться с его губ мысли в самую глубину его сознания, где они и затерялись. Он оцепенел: ведь она не была ускользнувшим от него строптивым учеником, обреченным всю жизнь ходить по указке, какими в этом городе были все, — все жители. Нет, она была чем-то новым. От всего, что она говорила с момента их встречи, на него внезапно повеяло свежим ветром. Она была чуждой и, без сомнения, почти равноправной с ним силой. Если бы она потребовала теперь ответа, он ничего не смог бы ей возразить. В нем родилось что-то новое: нечто похожее на уважение.

— Ну, да что там! — пренебрежительно бросила она, умолкла и повернулась к нему спиной.

Раздались звуки рояля. Распахнувшаяся дверь пропустила в комнату толстую, с которой у Унрата произошло столкновение, и ее мужа, и снова захлопнулась. Женщина — даже ее манти трепетало гневными складками — швырнула на стол тарелку.

— И четырех марок не набралось! — воскликнул мужчина. — Мерзкие свиньи!

Актриса Фрелих сказала холодно и колко.

— Вот полюбуйтесь на этого господина. Он хочет заявить на нас в полицию.

Испуганный натиском превосходных сил, Унрат что-то забормотал. Толстуха порывисто повернулась и смерила его взглядом. Этот взгляд показался ему нестерпимо наглым; он покраснел, опустил глаза, увидел ее икры, затянутые в трико телесного цвета, и, вздрогнув, оторвал от них взгляд. Мужчина сказал, с трудом сдерживая силу своего голоса.

— Да ведь скандалил-то он один? Я сколько раз предупреждал Розу: кто вздумает здесь ревновать и завидовать другим, тот вылетит за дверь! А вы! Связываетесь с мальчишками! Вас и в полиции, вероятно, уже знают, как развратного старичка.

Но жена толкнула его; у нее создалось совсем другое впечатление об Унрате.

— Замолчи! Этот и мухи не обидит.

И к Унрату:

— Вы, видно, несколько вышли из себя. Господи боже, иногда ни с того, ни с сего начинаешь беситься, это бывает! А Киперт пусть помалкивает, он сам на стену лезет, когда вообразит, что я ему изменяю. Присядьте да выпейте глоточек.

Она убрала со стула юбки и цветные панталоны, взяла бутылку и налила ему стакан вина. Желая избежать разговоров, Унрат выпил. Женщина спросила:

— Вы давно знаете Розу? Я как будто вас никогда не видела.

Унрат что-то пробормотал, но рояль заглушил его слова. Актриса Фрелих объяснила:

— Это учитель тех мальчишек, что вечно торчат у меня в уборной.

— Вот как, значит, вы учитель?— сказал актер. Он тоже выпил, прищелкнул языком и пришел в свое обычное добродушное настроение.

— Ну, тогда вы свой человек! Вы, конечно, тоже будете голосовать за социал-демократа? В противном случае, знаете, вы можете ждать повышения учительских окладов до второго пришествия. Со свободным искусством та же история: придирки полиции, и ни гроша в кармане. Наука...

Он указал на Унрата.

— и искусство...

Он указал на себя.

— одного поля ягоды.

Унрат возразил:

— Каждый рассуждает по-своему, но у вас ошибка в основной предпосылке. Я не народный учитель, а профессор, доктор Раат, из здешней гимназии.

Актер сказал просто:

— Ваше здоровье!

Каждый волен именовать себя, как хочет, и если кому нравится изображать из себя профессора, то это еще не основание для разногласий.

— Так, значит, вы учитель? — приветливо спросила женщина. — Тоже не легкий хлеб! А сколько вам лет?

Унрат ответил охотно, как ребенок.

— Пятьдесят семь.

— Вы ужасно выпачкались! Дайте-ка вашу шляпу, я ее немножко почищу.

Она взяла фетровую шляпу, лежавшую у него на коленях, почистила ее, даже разгладила поля и ласково надела ее на голову Унрата. Потом, любуясь своей работой, игриво похлопала его по плечу. Он сказал с кривой усмешкой:

— Очень любезно — именно, именно — с вашей стороны, голубушка!

Но на этот раз он испытывал не обычное угрюмое снисхождение властелина к верным своему долгу подданным. Он чувствовал, что эти люди, для которых он, несмотря на то, что он поведал им свой титул, был полным инкогнито, принимают его со свойственной им теплотой. Он не ставил им в вину недостаток почтительности. Он оправдывал их: ведь ясно, что им недостает «должного критерия». Он оправдывал этим и охватившее его желание — забыться, уйти от непокорного мира, ослабить свое постоянное напряжение, разоружиться хотя бы на четверть часа.

Толстяк вытащил из-под панталон на стуле два германских флага, при этом он фыркнул и подмигнул Унрату, как единомышленнику. Толстуха уже совершенно успокоилась. Унрат имел время удостовериться, что кажущаяся наглость ее взгляда была нарочито создана гримом. Только с актрисой Фрелих не мог он держаться непринужденно. Но она стояла отвернувшись и была занята собой: пришивала к подолу юбки гирлянду искусственных цветов.

Звуки рояля оборвались на мощном аккорде. Раздался звонок.

— Наш выход, Густа, — сказал актер.

И дружелюбно Унрату:



— А вы бы поглядели на нашу работу, господин учитель.

Он сбросил с плеч поношенный пиджак, жена — свое вечернее манто. Она погрозила Унрату:

— Только, смотрите, будьте с Розой полюбезнее и не проявляйте опять столько темперамента.

Дверь приоткрылась, и Унрат с изумлением увидел, как толстяки с места в карьер пустились в грациозный пляс; закинув головы, лихо подбоченившись, с улыбкой, выражающей восторженное самолюбование, они, казалось, не сомневались в успехе. И действительно, едва они появились на сцене, как в зале поднялся веселый шум.

Дверь захлопнулась; Унрат остался один с актрисой Фрелих. В тревоге о том, что сейчас произойдет, он забегал глазами по комнате. На полу, между зеркалом с букетами и столом, за которым он сидел, валялись грязные полотенца. На столе, кроме двух бутылок с вином, стояло множество стаканов и баночек с разными сильно пахнущими притираниями. Стаканы с вином стояли прямо на нотах. Унрат робко отодвинул свой стакан от корсета, который толстуха положила на стол.

Поставив ногу на один из заваленных причудливыми нарядами стульев, актриса Фрелих шила. Унрат не смотрел на нее; так далеко его предприимчивость не заходила; но он видел ее отражение в зеркале. При первом же мимолетном взгляде, брошенном на это отражение, Унрат обнаружил, что на ее длинных, очень длинных черных чулках была вышивка цвета фиалок. Несколько минут после этого он не ре-

шался смотреть. Потом он сделал потрясающее открытие, что ее мерцающее из-под черной сетки голубое шелковое платье совсем не закрывает ей плеч и что каждый раз, как она взмахивает рукой с иголкой, подмышкой мелькает что-то золотистое. Унрат перестал смотреть.

Тишина подавляла его. В зале тоже стало гораздо спокойнее. Доносились только отрывистые, стонущие звуки, немного хриплые и задышающиеся, какие издают с натуги толстяки. Потом наступила глубокая тишина, и в ней дребезжание и звон сгибаемого металлического предмета; затем нечто, с трудом поддающееся определению, как дыхание толпы. И вдруг — восклицание «Ап!» и два тяжелых прыжка, один за другим. Из разразившихся бешеных аплодисментов прорывались крики: «Чорт возьми!» и «Здорово!»

— Так! — сказала актриса Фрелих и сняла ногу со стула. Она была готова.

— Ну, а вы? Что это вы совсем притихли?

Унрату пришлось поднять на нее глаза, но ее пестрота снова его смутила. У нее были рыжеватые, вернее красноватые, чуть ли не лиловые волосы; сверкающие в них стеклянные шлифованные зеленые бусы были собраны в изогнутую диадему. Брови над голубыми глазами были очень черны и надменны. Но яркий блеск чудесных красок ее лица, — красное, голубоватое, жемчужно-белое, — потускнел от пыли. Поникая прическа, казалось, потеряла часть своего сияния в дымном зале трактира. Голубой бант на шее завял, а искусственные цветы на юбке кивали мертвыми головками. С туфель осыпался лак, на чулках

было два пятна, а шелк короткого платья переливался примятыми складками. Ее нежные, слегка округленные руки и плечи казались захватанными, несмотря на белизну, осыпавшуюся при каждом быстром движении. Унрат уже знал, что ее лицо может быть очень заносчивым и враждебным, но пока актриса Фрелих еще легко стирала со своего лица это выражение и забывала о нем.

Она рассмеялась над миром, над собой.

— А ведь вначале вы были очень разговорчивы,— добавила она.

Но Унрат прислушивался. Вдруг он прыгнул неуклюже, как старая кошка. Актриса Фрелих отшатнулась, пронзительно взвизгнув. Он распахнул красное окно... Но голова, очертания которой мелькнули за занавеской, уже скрылась.

Он вернулся на место.

— Что это вы людей пугаете, — сказала она.

Не извинившись, он приступил прямо к делу.

— Вы, конечно, знаете многих здешних молодых людей?

Она чуть-чуть покачивала бедрами.

— Я вежлива со всеми, кто себя прилично ведет.

— Ну, конечно... Именно, именно... а гимназисты вообще отличаются весьма приятным обхождением?

— Уж не воображаете ли вы, что я сижу здесь целый день с вашими школьниками? Я вам не нянька из детского сада.

— Конечно же нет!

И как бы помогая ей вспомнить:

— Они больше в форменных фуражках.

— Когда они в фуражках, я их узнаю. И вообще я вовсе не такая уж круглая дура.

Он подхватил:

— В этом нет никакого сомнения.

Она сразу насторожилась.

— Что вы имеете в виду?

— Я имел в виду знание людей...

Он обратил к ней ладонь поднятой вверх руки, испуганный, молящий о примирении.

— Я подразумевал знание людей. Не каждый обладает им. Оно тягостно и горько.

И чтобы не потерять ее расположения, чтобы приблизиться к ней, потому что он нуждался в ней, потому что она внушала ему страх, он открыл ей в себе нечто большее, чем то, что он обычно показывал толпе.

— И горько... Но оно необходимо, чтобы заставить людей служить себе и, презирая их, властвовать над ними.

Она поняла.

— Не правда ли? Это большое искусство — вытянуть что-нибудь из этого сброда!

Она придвинула себе стул.

— Вы ведь не имеете никакого представления о нашей жизни. Всякий, кто сюда входит, воображает, что его только и ждали. Все чего-нибудь желают, а потом угрожают полицией. Вот вы...

И она коснулась его колена кончиком пальца.

— прямо... с нее начали.

— Я отнюдь не хотел оскорбить вас. Я ни в каком случае не позволю себе отказать даме в должном к ней почтении,— заверил он.

Ему было не по себе. Эта пестрая молодая особа говорила о вещах, в которых он не разбирался с должной ясностью. Кроме того, ее колени очутились уже между его коленями. Она поняла, что встала на неверный путь, и вдруг сделала скромное и благодарное лицо.

— Самое лучшее бросить всю эту грязь и быть порядочной.

И не дождавшись ответа:

— Вкусное вино? Его заказали ваши мальчишки. Они прямо из кожи лезут. У одного из них водятся денежки.

Она снова наполнила его стакан и, желая ему польстить, добавила:

— Ну, и нахохочусь же я, когда эти олухи вернутся, а мы выдули их вино. Иногда мне доставляет удовольствие насолить кому-нибудь. Постепенно становишься такой...

— Ну, конечно...— заикаясь, сказал Унрат. И держа в руке стакан, он устыдился того, что пьет вино Ломана. Ибо ученик, заплативший за это вино, был Ломан. Ломан был здесь: он скрылся раньше других. Возможно, что он и сейчас находится где-нибудь поблизости. Унрат покосился на окно: на занавеске по-прежнему был виден бесформенный отпечаток чьей-то головы. Он знал, что стоит ему подскочить к окну, как он исчезнет. Это был Ломан: ему это подсказывало глубокое чутье. Ломан! Самый отъявленный, в своем надменном упорстве даже не называющий его этим именем. Он олицетворял собой невидимый дух, с которым Унрат боролся. Те двое не были духами, и

Унрат сознавал, что им вряд ли удалось бы довести его до этого, до совершаемых им необычных поступков и до пахнувшей гримом и соблазнительными рядами уборной актрисы Фрелих. Но из-за ученика Ломана Унрат вынужден здесь оставаться. Если он уйдет, тут снова появится Ломан и будет смотреть в пестрое лицо тесно пододвинувшейся со своим стулом актрисы Фрелих. При мысли, что пока он здесь, этого не случится, Унрат, не успев опомниться, осушил залпом стакан до дна. Его внутренности обдало чудесным огнем.

Толстяки в зале, тяжело дыша, закончили свой очередной номер. Рояль заиграл что-то воинственное, и два исполненных патриотического восторга голоса запели:

Величественно веет флаг,  
Корабль наш на ходу.  
Германии грозящий враг,  
Ты попадешь в беду!

Актриса Фрелих сказала:

— Это их коронный номер. На это стоит посмотреть!

Она осторожно приоткрыла дверь, так, чтобы публика их не заметила, и предложила ему заглянуть в образовавшуюся щель. Унрат увидел, что толстяки, обмотав живот черно-бело-красными флагами, стояли на турнике и, с важным видом опершись о шест, победоносно выкрикивали:

Повсюду, где несет вода  
Хоть чей угодно флот,  
Там флагу нашему всегда  
Приветы и почет.

В публике чувствовался большой подъем. То один, то другой поднимал в сильном волнении мозолистые руки и хлопал в ладоши. После каждой пропетой строфы более хладнокровные с трудом восстанавливали спокойствие. Когда песня кончилась, разразилась буря восторгов.

Сделав жест, которым она как бы охватывала весь зал, актриса Фрелих сказала:

— Скажите сами, разве это не обезьяны? Ведь каждый из них лучше споет эту старую флотскую песню, чем тетушка Густа со своим Кипертом. Густа и Киперт прекрасно знают, что паясничают просто ради заработка. У них ни голоса, ни слуха, и эти их флаги вокруг брюха, и ужимки, — да тут тому, кто понимает, впору требовать обратно свои деньги. Ну, скажите сами, разве я не права?

Унрат с ней согласился. Он и актриса Фрелих объединились в родственном презрении к толпе.

— А ну-ка, посмотрите, что сейчас будет! — сказала она, и прежде чем толстяки выступили «сверх программы», она вдруг высунула голову в дверь.

Зал захохотал.

Она спряталась.

— Слышали? — спросила она, удовлетворенная. — Весь вечер плялили на меня глаза, но стоит мне только высунуть кончик носа в непоказанное время, и они начинают мычать, как скоты.

Унрат вспомнил, что такие же звуки раздаются в классе каждый раз, как случается что-нибудь неожиданное, и решил:

— Все они таковы.

Актриса Фрелих вздохнула.

— Сейчас мой выход. Пора и мне в этот зверинец. Унрат заторопился.

— Итак, значит, закройте дверь!

И он сам сделал это.

— Мы уклонились от нашей темы. Вы должны сказать мне правду о Ломане. Ваше запирательство только повредит ему.

— Вы все о том же! Рехнулись, что ли?

— Но ведь я учитель! А это такой ученик, который заслуживает строжайшего наказания. Исполните свой долг, дабы преступник не избежал правосудия.

— О господи! Очевидно, вы собираетесь изрубить его на котлеты. Как вы его называли? У меня вообще плохая память на имена. Какой он с виду?

— У него желтоватое лицо и широкий лоб, который он, с одной стороны, высокомерно морщит, и на который, с другой стороны, ниспадают пряди черных волос. Он среднего роста, и небрежные, как это говорится, движения его глубокого стана выдают всю необузданность его страстей...

Унрат дорисовал этот образ жестами. Ненависть сделала его портретистом.

— Ну? — сказала актриса, коснувшись двумя пальцами уголков губ. Но она уже узнала Ломана.

— Он — несомненно значит — весьма франтоват и считает за должное своими меланхолически-безразличными манерами придавать себе такой вид, словно изящество у него природное, а отнюдь не порождение презренного тщеславия.



Она сказала:

— Довольно. В данном случае я не могу быть вам полезна. Сожалею.

— Подумайте! Вспомните!

— Очень жаль. Но помочь не могу,— и она скроила плутовскую гримасу.

— Но я знаю, что он был здесь! У меня доказательства!

— В таком случае вы и без моей помощи затянете ему петлю на шее.

— У меня в кармане лежит школьная тетрадь Ломана. Я уверен, что если я покажу ее вам, то вы больше не станете отрицать своего знакомства с ним. Итак, значит, — показать вам ее, актриса Фрелих?

— Чертовски любопытно!

Он сунул руку в карман, мучительно покраснел, вытащил руку, вновь собрался с духом... И вот она читает стихи Ломана, с напряжением, словно ребенок, разбирающий по букварю. И вдруг вспыхнул:

— Чорт побери, ну и подлость. «А в интересном положении!» Кто еще из нас раньше попадет в интересное положение!

И задумчиво:

— Но он не так глуп, как я думала!

— Вот видите, значит, вы его знаете!

Она торопливо:

— Кто это вам сказал? Нет, миленький, меня не поймаете!

Унрат ядовито взглянул на нее. Вдруг он топнул

ногой; такая закоренелая лживость выводила его из себя. Сгоряча он и сам солгал:

— Я же знаю, я видел его!

— Ну, тогда все в порядке,— сказала она невозмутимо. — Впрочем, теперь и я бы не прочь с ним познакомиться.

Вдруг она придвинулась к нему тудью, легонько коснулась пальцами плешинки у него на подбородке и вытянула губы, словно для сосанья.

— Представьте его мне, хорошо?

Она расхохоталась, а у него был такой вид, как будто ее легкие пальцы его душили.

— Ваши ученики вообще шикарные ребята. Вероятно потому, что у них такой шикарный учитель.

— Который же из молодых людей вам больше нравится? — спросил Унрат с необъяснимым волнением.

Она отняла руку, и ее лицо без всякого перехода снова приняло скромное и благоразумное выражение.

— Кто вам сказал, что мне вообще нравится кто-нибудь из этих глупых мальчишек? Если бы вы только знали... мы... с какой радостью отдала бы я всех этих ветрогонов за хорошего человека в пожилых летах, который думает не о развлечениях, а о настоящем чувстве и о настоящей жизни... Этого мужчины не понимают! — добавила она с легкой грустью.

Толстяки вернулись. Не успев отдышаться, жена спросила:

— Ну, как он себя вел?

Снова заиграл рояль.

— Пора, пойду развлекаться!

Актриса Фрелих накинула на плечи шаль и стала еще пестрее.

— Вам, наверное, хочется домой? — спросила она Унрата. — Это понятно. У нас здесь во всяком случае не рай. Но завтра вы непременно должны прийти снова, а то ваши ученики будут здесь безобразничать. Вы сами это понимаете!

И она вышла.

Ошеломленный странным заключением их разговора, Унрат молчал, предоставив ей решать за него. Актер отворил дверь.

— Идите все время за мной, тогда пройдет без скандала.

Унрат последовал за ним по совершенно свободному проходу вокруг зала, которого он раньше не заметил. Не доходя до выхода, актер повернул обратно. Еще раз увидел Унрат мелькающие в вихре пестрых красок руки, плечи, ярко освещенный кусок обнаженного тела, над дымом, над шумом... Он захлопнул дверь. Проходивший с пивом хозяин крикнул ему:

— Добрый вечер, господин профессор! Окажите еще раз честь моему заведению!

В воротах Унрат остановился и попытался притти в себя. Он ощутил действие холодного воздуха и подумал, что без вина и пива в неурочный час это приключение вряд ли оказалось бы возможным. Он вышел на улицу и отшатнулся: у стены дома вертелись три фигуры. Он покосился на них из-под очков, это были Кизелак, фон Эрцум и Ломан.

Унрат круто повернул; он услышал за собой воз-

мушечное пыхтение, которое могла издать только самая широкая из этих трех грудей: грудь фон Эрцума. Потом раздался сдавленный голос Кизелака:

— В доме, из которого кто-то сейчас вышел, процветает, как известно, моральный унрат!

Унрат вздрогнул, от бешенства и страха он заскрежетал зубами.

— Я всех вас раздавлю! — закричал он. — Завтра же — несомненно значит — доложу обо всем директору.

Никто не ответил. Унрат снова повернул и сделал два-три шага в окружающем его грозном молчании. Вдруг Кизелак сказал очень медленно, и при каждом его слове у Унрата вздрагивала кожа на затылке:

— Мы тоже!

## V

Ломан, граф Эрцум и Кизелак гуськом прохаживались по залу. Проходя мимо сцены, Кизелак пронзительно свистнул.

— В курятник! — скомандовал он. И они проскользнули в актерскую.

Толстуха что-то штопала.

— Где ж это вы пропадали, господа? — спросила она. — А нам тут оказал честь ваш учитель.

— Мы с ним не водимся, — заявил Ломан.

— Почему же? Он очень образованный человек, и его так легко обернуть вокруг пальца.

— Ну и оберните!

— Да я не про себя. Вам, видно, угодно насмешничать. Но я знаю кое-кого...

Она не закончила фразы, потому что Кизелак пощекотал ее подмышками. Он предварительно уверился, что товарищи смотрят в другую сторону.

— Не смей, малыш! — и она сдернула с кончика носа пенсне. — Если вы еще раз позволите себе это, Киперт вам задаст.

— Разве он кусается? — спросил Кизелак, а женщина таинственно кивнула, сморщив лицо, как бы убеждая ребенка в существовании черного человека из сказки.

Засунув руки в карманы и развалившись на стуле около туалетного столика, Ломан сказал:

— Знаешь, Кизелак, наглое ты животное, ты решительно пересолил с Унратом. Зачем тебе понадобилось дразнить его, когда он выходил отсюда? Он ведь тоже только человек. Теперь он может здорово нам напакостить.

— Я ему покажу! — похвалился Кизелак.

Эрцум сидел посредине комнаты, положив локти на стол. Он что-то бормотал; его красное лицо под шалкой рыжих волос, освещенных висячей лампой, было все время обращено к двери. Вдруг он ударил кулаком по столу.

— Если эта скотина попробует явиться сюда еще хоть раз, я ему все кости переломлю!

— Ловко! — сказал Кизелак. — Тогда он не сможет вернуть нам наши сочинения. Мое — сплошная чепуха.

Ломан смотрел на них, улыбаясь.

— Кажется, малютка в самом деле здорово тебя увлекла, Эрцум. Так может говорить только настоящая любовь.

Вдруг аплодисменты в зале стихли, и дверь распахнулась.

— Фрейлен, здесь из-за вас готовы на убийство,— сказал Ломан.

— Можете ваши дурацкие остроты оставить при себе,— надменно ответила она.— Я говорила о вас с вашим учителем, он тоже от вас не в восторге.

— Чего он хочет, старый баран?

— Схватить вас и изрубить на котлеты, больше ничего.

— Фрейлен Роза! — пробормотал Эрцум.

Как только она появилась в комнате, его словно подменили: поникшие плечи, молящий взгляд.

— От вас тоже мало толку! — заявила она.— Вам надо было остаться в зале и похлопать как следует. Там какие-то хамы хотели меня освистать.

Эрцум вскочил и ринулся вон из комнаты.

— Где эти негодяи? Где эти негодяи?

Но она удержала его.

— Сделайте одолжение! Нехватает только скандала! Тогда я сегодня же вечером вылечу отсюда. Может быть, вы предоставите в мое распоряжение ваш дворец, господин граф?

— Вы несправедливы, фрейлен,— сказал Ломан.— Сегодня он опять был из-за вас у своего опекуна, консула Бретпота. Но этот мещанин ничего не смыслит в великих страстях и денег ему не дает. Эрцум, поскольку это зависит от него, все бы сложил к вашим

ногам: имя, состояние, блестящую будущность. Видит бог, он достаточно прост, чтобы это сделать. Именно поэтому было бы нехорошо, если бы вы злоупотребили его столь привлекательной простотой. Пощадите же его!

— Я сама знаю, что мне делать, болтунишка, вы!.. И если у вашего друга не такой длинный язык, как у вас, то именно поэтому у него больше шансов...

— «Достигнуть цели класса» — закончил Кизелак.

— Знаю я вас, вы из тех, что все делают исподтишка,— и она приблизилась к Ломану.— Здесь у вас такой вид, как будто вас ничто не интересует, а за спиной вы сочиняете на людей всякую пакость.

Ломан смущенно рассмеялся.

— Вы вообще последний из тех, кому я когда-нибудь дам повод полагать, что я могу очутиться в интересном положении. Вы меня поняли? Последний!

— Прекрасно. Последний. Я подожду,— скучающе сказал Ломан. И когда она повернулась к нему спиной, он вытянул ноги и уставился в потолок. Ведь он сидел здесь ни в чем лично не заинтересованный, а лишь в качестве насмешливого наблюдателя. Ему она была совершенно безразлична. В отношении его сердца, сердца Ломана, дело обстояло чрезвычайно серьезно, гораздо серьезнее, чем можно себе представить, но об этом никто никогда не узнает. Ирония была его панцырем...

Рояль уже передохнул.

— Роза, ваш любимый вальс! — сказала толстуха.

— Кто хочет танцевать? — спросила Роза.

Она уже покачивала бедрами и улыбалась Эрцуму. Но Кизелак опередил широкоплечего дворянина. Он обнял Розу непристойным движением, закружил ее с нарочитой плавностью и вдруг бросил. Она чуть не упала. Он показал ей язык и потихоньку ущипнул в заднюю часть. Она вздрогнула и сказала сердито и нежно.

— Если ты, паршивец, еще раз это сделаешь, я скажу ему, и он тебя вздует.

— Это ты брось! — шопотом посоветовал Кизелак. — А то я ему тоже кое-что скажу.

Они смеялись глазами. Эрцум смотрел на них растерянным взглядом, на красном лице выступили капли пота.

Тем временем Ломан пригласил толстуху. Роза оставила Кизелака и смотрела на хорошо танцовавшего Ломана. Толстуха казалась в его руках совсем легкой. Найдя, что с нее хватит, Ломан милостиво поклонился и, не оглядываясь на Розу, вернулся на свое место. Она пошла за ним.

— Танцовать с вами все-таки можно, хотя ни на что другое вы не годитесь.

Он пожал плечами и поднялся с наигранно безразличным видом. Она вальсировала долго, мечтательно, самозабвенно.

— Может быть, довольно? — вежливо спросил он, наконец. И когда она очнулась:

— Ну, тогда...

— Господи, как я хочу пить, — крикнула она, задыхаясь. — Господин граф, дайте мне чего-нибудь выпить, или я упаду.



— Он и сам не очень-то-тверд на ногах, — заметил Ломан.— У него вид, как у пьяной луны.

Эрцум пыхтел, как будто он сам все время вертел девушку. Дрожащей рукой он наклонил бутылку, но из нее вылилось только несколько капель. Он беспомощно взглянул на Розу. Она смеялась. Толстуха сказала:

— Ваш господин учитель, видно, не дурак выпить.

Эрцум понял; в его глазах промелькнуло бешенство.

Вдруг он схватил пустую бутылку за горлышко, как дубинку.

— Полегче! — сказала Роза. И пристально взглянув на него:

— Мой платок лежит под столом. Достаньте-ка его; хорошо?

Эрцум наклонился, сунул голову под стол, хотел достать платок, но у него подогнулись колени — девушка смотрела на него — и он пополз к платку, поднял его зубами и вернулся на четвереньках.

Так он стоял, закрыв глаза, одурманенный жирным, приторным запахом посеревшей тряпки для грима. Близко перед его сомкнутыми веками, недоступная, стояла женщина, о которой он грезил днем и ночью, в которую верил, за которую отдал бы жизнь. И оттого, что она была бедна, а он не мог еще возвысить ее до себя, ей приходилось подвергать опасностям свою чистоту и знаясь с разным сбродом, даже с Унратом! Страшная и единственная в своем роде судьба!

Насладившись своей затеей, Роза взяла у него изо рта платок и сказала:

— Хорошо, мой песик.

— Великолепно,— заметил Ломан.

А Кизелак, всунув в рот палец с обгрызанным ногтем и переводя взгляд с одного товарища на другого:

— Только не очень-то задавайтесь, пожалуйста! Все равно вам не достигнуть во время «цели класса».

И он подмигнул Розе Фрелих. Сам он ее уже достиг.

Ломан сказал:

— Половина одиннадцатого. Твой пастор уже вернулся из ливной, Эрцум. Тебе пора в кровать.

Кизелак что-то шепнул Розе шутливо и угрожающе. Когда двое других вышли, он куда-то исчез.

Друзья пойдли по направлению к городским воротам.

— Я могу тебя проводить,— сказал Ломан.— Мои старики на балу у консула Бретпота. Как тебе нравится, что нас не приглашают? Ведь там уже танцуют те тусыни, с которыми я ходил на уроки танцев.

Эрцум трагически покачал головой.

— Но такой женщины там нет. Во время летних каникул я был на семейном празднике. Собрались все эрцумовские девушки и всякие родственницы, всевозможные Пюгелькорки, Алефельды, Каденелленбогены.

— И так далее.

— И ты думаешь, хоть у одной из них было это...

— Что?

— Ну это... Ты прекрасно знаешь. К тому же у

нее есть то, без чего я не представляю себе женщину. Это, так сказать, душа.

Эрцум сказал «так сказать» потому, что его смущало слово «душа».

— И кроме того, носовой платок,— добавил Ломан.— Такого платка нет ни у одной Пюгелькрок.

Эрцум не сразу понял намек. Он мучительно старался разобраться в темных инстинктах, руководивших им во время этой странной сцены.

— Не думай,— сказал он,— что я делаю подобные вещи без определенной цели. Я хочу показать ей, что, несмотря на свое низкое происхождение, она стоит выше меня и что я серьезно намерен возвысить ее до себя.

— Но ведь она стоит выше тебя.

Эрцум сам удивился этому противоречию. Он сказал, запинаясь:

— Ты увидишь, что я сделаю... Во второй раз эта собака Унрат живым в ее уборную не войдет.

— Боюсь, что он так же хотел бы нам помешать, как мы ему!

— Пусть только попробует!

— В конце концов он просто трус!

Тем не менее тревога их не покидала; однако больше они об этом не говорили.

Они шли пустынной поляной, на которой летом устраивались народные гулянья. Эрцум, оживившийся под просторным звездным небом, мысленно находил блестящие пути к свободе, выход из этого мешанского гнезда и пыльной гимназии, держащей в постыдных оковах его большое деревенское тело. С тех

гор как он полюбил, он увидел, что он смешон на школьной скамье, заикающийся от страха не ответить на заданный вопрос, понурый, беспомощный под косым ядовитым взглядом и шипением сидящего на кафедре дохляка со вздернутым плечом. Его мускулы, от которых здесь требовали спокойствия, томилась бездействием; им хотелось разить мечом, молотить цепом, поднять над головой женщину, удержать за рога бегущего быка. Его мозг требовал простых деревенских идей и понятий, прочных, земных, осязаемых, коренящихся в земле, глубоко под разреженной атмосферой классической премудрости, в которой он не мог дышать; он жаждал соприкоснуться с обнаженной черной землей, которая прилипает к подошвам охотника, ощутить ветер, который хлещет в лицо скачущему всаднику; он жаждал шума людных кабаков и лая собачьей своры, испарений осеннего леса и потной лошади, роняющей навоз... Три года назад скотница, которую он защитил от сильного конюха, отблагодарила его тем, что швырнула в сено. И сквозь образ этой девушки он воспринимал теперь левизну Розу Фрелих, пробудившую в нем воспоминание о далеком сером небе и о множестве крепких звуков и запахов. Она пробудила в нем все, что было его собственной душой. Вот почему он оказывал ей честь, считая это ее душой, приписывал ей много, много души и ставил ее так высоко.

Школьники дошли до виллы пастора Теландера. Балконы первого и второго этажа поддерживались

колоннами, которые были увиты дикими виноградными лозами.

— Твой пастор уже дома, — сказал Ломан и указал на свет в окне первого этажа. Они подошли ближе; свет погас.

Эрцум угрюмо и уже снова покорно взглянул на приоткрытое окно в верхнем этаже, куда он должен был взобраться. Там от его книг и одежды пахло классом. Воздух школы преследовал его днем и ночью... Он сделал исполненный злобы неуклюжий прыжок, взобрался по колонне, присел на перила балкона на первом этаже и еще раз взглянул на свое окно.

— Долго я этого проделывать не намерен, — сказал он вниз Ломану. Потом вскарабкался на второй этаж, толкнул ногой окно и исчез в комнате.

— Приятных сновидений! — сказал Ломан с мягкой насмешкой и повернул назад, не стараясь заглушить шум своих шагов. Пастор Теландер, потушивший свет, чтобы ничего не видеть, не был человеком, способным поднять шум из-за ночной прогулки графа Эрцума, за пансион которого ему ежегодно платили четыре тысячи марок... И, едва выйдя из палисадника, Ломан снова унесся к Доре.

Итак, Дора давала свой большой бал. В эту минуту она смеялась, прикрывшись веером, своим удивительным жестоким и томным смехом креолки. Возможно, что вместе с ней смеялся ассессор Кнуст; возможно, что сегодня вечером решалась судьба Кнуста. Потому что с лейтенантом фон Гиршке, кажется, все конче-

но... Ломан втянул шею, закусил губу и прислушался к своему страданию.

Он любил жену консула Бретпота, тридцатилетнюю женщину. Три года, с того дня, когда был урок танцев у нее в доме, любил он ее. Она приколола ему значок... о, только для того, чтобы сделать приятное его родителям; он это знал. С тех пор он видел ее через щелку двери на больших балах в родительском доме, на которые его не пускали... видел ее, окруженную поклонниками: он! Ежеминутно могла распахнуться дверь, и за ней стоял бы он, уничтоженный, истерзанный болью; тогда все бы открылось! Если бы это случилось, Ломан, конечно, покончил бы с жизнью. Старое ружье, с которым он гонялся в амбаре за крысами, лежало наготове.

Он проявлял отеческую дружбу к ее маленькому сыну, четверокласснику, давая ему списывать свои старые сочинения. Он любил ее дитя! Однажды, когда он вмешался в драку ребят, чтобы помочь Бретпоту, он уловил на некоторых лицах многозначительные улыбки. Ружейное дуло уже повернулось к его груди... Но нет, никто ничего не знал, и Ломан мог попрежнему переживать и разыгрывать перед самим собой дикое целомудрие, сладострастную горечь, застенчивое, тщеславное, сладостное презрение семнадцатилетнего к миру и по ночам исписывать стихами обратную сторону старого бального значка...

И вот от него, который был насквозь проникнут скорбной любовью, такая девушка, как эта Роза Фрелих, требовала, чтобы он почувствовал к ней влечение. Трудно было выдумать что-нибудь более

ироническое. Он писал стихи и о ней... это верно. Ведь для искусства безразличен объект! Но если она думает, что это что-нибудь значит... Она притворилась обиженной, он рассмеялся ей в лицо, и это, конечно, ее только раззадорило. Но он, поистине, к этому не стремился; ему и в голову не приходило домогаться любви певички из «Голубого ангела». Там в зале, вероятно, были матросы или приказчики, которых она осчастливила за сумму от трех до десяти марок...

Но, быть может, это все-таки льстило ему? К чему отрицать! Бывали моменты, когда он хотел видеть эту девушку у своих ног, когда он желал ее, чтобы унижить, чтобы испытать в ее ласках привкус мрачного порока и этим пороком загрязнить свою собственную любовь; чтобы в лице молящей на коленях девки унижить ее, Дору Бретпот, а потом упасть к ее ногам и сладостно рыдать!

Трепеща от этих мыслей, направлялся Ломан на Кайзерштрассе к освещенному дому консула Бретпота, чтобы среди мелькающих в окнах силуэтов разглядеть один-единственный.

## VI

Когда утром Эрцум, Кизелак и Ломан встретились в школе, все трое были бледны. Посреди беснующегося класса каждый из них чувствовал себя как бы преступником, знающим о существовании приказа об его аресте, в то время как окружающие ничего не подозревают. А между тем время исчислялось минутами.

Кизелак подслушивал у дверей директорского кабинета и уверял, что слышал там голос Унрата. Он уже больше не хвастал; прикрыв рот рукой и скривив губы, он шепнул Эрцуму: «Плохо наше дело, дружище!» На эти минуты Ломан охотно бы поменялся ролью с последним тупицей в классе.

Унрат вошел торопливо и тотчас же занялся Овидием. Он спрашивал заданное наизусть и вызвал первого ученика Ангста. Потом отвечали ученики, фамилии которых начинались на букву Б. Дойдя до Э<sup>1</sup>, он сразу перескочил на М. Эрцум облегченно вздохнул. Кизелак и Ломан с удивлением установили, что К и Л тоже пощажены.

За переводом ни одному из них не было задано ни одного вопроса. Они страдали от этого, хотя и «не приготовились». У них было такое ощущение, как будто они уже изгнаны из человеческого общества и преданы гражданской смерти. Что собирался предпринять Унрат? Во время перемены они избегали друг друга из страха, что их заподозрят в связывающей их роковой тайне.

Три урока других преподавателей прошли в непрерывном страхе; шаги на дворе, скрип лестницы: директор!... Но ничего не случилось. А урок греческого Унрат провел так же, как и латинский. На Кизелака напала отчаянность, и он поднял руку, хотя не мог ответить на вопрос. Но Унрат смотрел мимо него. Тогда он стал при каждом заданном вопросе размахивать в воздухе своей синей лапой и щелкать паль-

---

<sup>1</sup> В немецком алфавите Э (E) одна из первых букв,



цами. Ломан перестал ждать и раскрыл под партой «Боги в изгнании». Эрцум, снова униженный и пораженный школой, как всегда, из кожи лез вон, чтобы поспеть за классом, и, как всегда, отставал.

Уходя из школы, они ждали, что швейцар, с улыбкой, предвещающей недоброе, позовет их к директору. Нет, человек с колокольчиком просто снял перед молодыми господами фуражку. Выйдя на улицу, они взглянули друг на друга в безмолвном ликовании, не решаясь открыто торжествовать. Первым прорвало Кизелака:

— Вот видите! Я сразу сказал, что он не посмеет!

Ломан злился, потому что не устоял и струсил.

— Если он воображает, что может водить меня за нос...

Эрцум сказал:

— Еще все может случиться!

И с внезапной свирепостью:

— Пусть случится! Я знаю тогда, что мне делать.

— Могу себе представить,— сказал Ломан.— Ты отколотишь Унрата, потом привяжешь себя веревкой к Фредих, и вы вместе прыгнете в воду.

— Нет... это нет! — удивленно произнес Эрцум.

— Что это на вас нашло, ребята! — воскликнул Кизелак. И они расстались. Уходя, Ломан сказал:

— Собственно говоря, меня больше ничего не привлекает в «Голубом ангеле». Но труса праздновать я не намерен; именно теперь я пойду туда.

Вечером он и Эрцум почти одновременно подошли

к дому. Они подождали Кизелака. Они всегда пускали его вперед; он первый входил в актерскую, первый открывал рот, первый создавал настроение.

Без Кизелака ничего бы не вышло; им нужны были он и его нахальство. У него не было денег, они платили за него, и он старался, чтобы они не заметили, за что они в сущности платили, и что теми цветами, вином и подарками, которые они дарили Розе, они оплачивали его, Кизелака, тайные радости.

Наконец, он подошел, нисколько ради них не торопясь, и они вошли в дом. Узнав от хозяина, что в актерской сидит их учитель, они смущенно переглянулись и улетпнули.

Благополучно добравшись накануне ночью до дома, Унрат подошел к своей конторке и зажег настольную лампу. Печка еще согревала комнату, часы тикали. Перелистывая свою рукопись, Унрат мысленно произнес:

— Истинны только дружба и литература.

Он почувствовал, что отделался от актрисы Фрелих и что «посторонние занятия», которым предавался ученик Ломан, были ему теперь глубоко безразличны. Но, проснувшись на рассвете, он понял, что не найдет покоя, пока не «словит» ученика Ломана. Правда, он тотчас же снова занялся партикулами Гомера, но дружба и литература его уже не увлекали. И он почувствовал, что они его уже не увлекут, пока Ломан может беспрепятственно сидеть у актрисы Фрелих.

Она сама указала способ помешать этому; она

сказала: «Но завтра вы непременно должны притти снова, а то ваши ученики будут здесь безобразничать». Вспомнив эти слова, Унрат покраснел, потому что слова воскресили и голос актрисы Фрелих, ее щекочущий взгляд, все ее пестрое лицо и два легких пальца, которыми она коснулась его подбородка... Унрат пугливо оглянулся на дверь и, как скрывающийся «посторонние занятия» ученик, с показным рвением склонился над своей работой.

Это видели — конечно значит — через красную занавеску три негодяя. И если он вздумает представить их на суд господину директору, то они, почувствовав себя погибшими и потеряв последние проблески стыда, будут способны открыто рассказать обо всем, что видели! В списке преступлений Ломана числилось и оплаченное им вино, выпитое Унратом. У Унрата выступил пот: он увидел себя в западне. Враги будут утверждать, что не он «словил» Ломана, а Ломан его... Сознание того, что ему предстоит еще более жаркая, чем обычно, борьба один на один с армией мятежных учеников, придало Унрату силы и уверенность, что он еще многим из них осложнит жизненную карьеру, если только ему не удастся окончательно погубить ее. И он отправился в гимназию, полный страстной решимости.

Для того чтобы расправиться с тремя преступниками, имелось достаточно оснований. Что касается Ломана, то довольно одного его наглого сочинения. Перед тем как поставить в конце недели отметки, он задаст им вопросы, на которых они провалятся. Он уже начал придумывать эти вопросы... Но когда он

прошел городские ворота, его охватила тревога, и чем ближе он подходил к школе, тем более грозным казалось ему будущее. Трое мятежников, конечно, уже взбунтовали класс рассказами о «Голубом ангеле». Как встретят Унтра? Революция вспыхнула!.. И панический страх тирана, почуявшего опасность, обрушился на него и смял, словно гонимая неприятелем конница. Отравленный страхом, косился он по сторонам, ища школьников, ища злоумышленников.

Входя в класс, он уже не был нападающей стороной. Он решил выжидать, надеясь спастись молчаливым отрицанием событий вчерашнего вечера, сокрытием опасности, игнорированием трех преступников. Унтра старался взять себя в руки. Он не подозревал, какой страх испытывают Кизелак, Эрцум и Ломан, но и они ничего не подозревали о его переживаниях.

По окончании уроков к нему, как и к его врагам, снова вернулось мужество. Ломан не должен торжествовать! Необходимо удержать его вдали от артистки Фрелих. Добиться этого было для Унтра вопросом его власти и делом чести. Но как? «Завтра вы непременно должны опять притти» — сказала она. Ничего другого не остается; признав это, Унтра испугался. Но в его испуге было что-то сладостное.

Вечером он был так возбужден, что не мог ужинать; не обращая внимания на протесты экономки, он тотчас же вышел из дома, чтобы быть первым в курятнике... в уборной артистки Фрелих. Ломан не смеет сидеть у нее и пить вино: это восстание, и он этого не потерпит. Больше Унтра ни в чем не отдавал себе отчета.

Быстро подойдя к «Голубому ангелу», он не сразу заметил пеструю афишку в воротах и несколько секунд разыскивал ее, совершенно потеряв голову. Слава богу, афишка на месте! Значит, актриса Фрелих не уехала внезапно, чего он только что так страшился, не сбежала, не погибла от землетрясения. Она еще пела, была пестрой, щекотала своим взглядом. Унрат почувствовал огромное облегчение и сделал внезапное открытие. Дело не только в том, чтобы удержать вдали от нее Ломана: ему самому хотелось сидеть у артистки Фрелих... Но мысль об этом тотчас же погасла в его сознании.

Зал был еще пуст, плохо освещен, неуютно огромен; бесчисленные грязно-белые столы и стулья были беспорядочно перемешаны, словно стадо баранов на пастбище. Около печки при свете маленькой жестяной лампочки сидел хозяин с двумя мужчинами: они играли в карты.

Желая пройти незамеченным, Унрат крался вдоль темной стены, как летучая мышь. Когда он уже собирался проскользнуть в актерскую, вслед ему раздался оглушительный возглас хозяина:

— Добрый вечер, господин профессор, рад, что вам понравилось в моем заведении.

— Я хотел только... я думал только... артистка Фрелих...

— Да вы войдите и подождите ее, ведь еще только семь часов. Я принесу вам пива.

— Спасибо,— крикнул Унрат,— я не расположен

пить... Но... — и он высунул голову из двери — поздней я, вероятно, дам большой заказ.

Он затворил дверь и ощупью проник в царящую в актерской тьме. Когда ему удалось зажечь свет, он убрал с подвернувшегося стула чулки и корсет; сел около стола, на котором со вчерашнего дня ровно ничего не изменилось, вынул из кармана записную книжку и начал составлять из цифр, стоящих против фамилии каждого ученика, предварительную оценку успеваемости. Дойдя до Э, он, совсем как утром, поспешно перескочил к М. Потом одумавшись, вернулся назад и поставил против имени Эрцума яростное «неудовлетворительно». Такая же участь постигла Кизелака, потом Ломана.

В комнате было тихо и безопасно; рот Унрата искривился жадной мести.

Немного спустя в зале, повидимому, появились первые посетители. Унрата охватила тревога. Вошла вчерашняя толстуха в черной шляпе с чудовищными полями и сказала:

— Да это вы, господин профессор? Можно подумать, что вы здесь ночевали.

— Я, голубушка, пришел по делу, — наставительно сказал Унрат. Но она погрозила ему пальцем.

— Ваши дела я могу себе прекрасно представить. Она сняла жакетку и боа.

— Теперь разрешите мне снять лиф.

Унрат что-то пробормотал и отвернулся.

Накинув ветхий капот, толстуха подошла к нему и похлопала его по плечу.

— Должна вам сказать, господин профессор, меня

нисколько не удивляет, что вы уже снова здесь. С Розой всегда так, и мы к этому привыкли. Всем, кто ее поближе узнает, она обязательно понравится. Да оно и вполне понятно, ведь это обворожительно красивая девушка.

— Возможно — именно, именно — что вы совершенно правы, голубушка, но... не из-за этого...

— Ну, конечно, не только из-за этого. Главное у девушки сердце. Господи боже, я ведь говорю...

Она приложила руку к собственному сердцу под распахнувшимся капотом. При этом у нее было блаженное выражение лица, и ее двойной подбородок дрожал от умиления.

— Часто она готова отрубить себе палец из одной любви к ближнему! Вероятно это оттого, что у нее отец служил в больнице. Верите ли, Роза всегда питала слабость к пожилым мужчинам. И не только из-за...

Она выразительно потеряла большой палец об указательный.

— ...но потому, что такое уж у нее сердце. Ведь пожилые люди больше всего нуждаются в ласке... Иногда она действительно добрее, чем это разрешено полицией. Ведь я ее с детства знаю. От меня вы можете все узнать из первых рук.

Она присела на край стола, зажала Унрата между своей мощной особой и спинкой его стула и, казалось, всецело подчинила его своей власти и обволакивающей атмосфере своего рассказа.

— Девочке не было еще и шестнадцати, как она уже толкалась по балаганам и путалась с работающими.

ми в них артистами. Вы понимаете, когда с малых лет чувствуешь влечение к театру... Ну, нашелся там старичок один, который захотел взять ее в науку; что это за учение, нам хорошо известно, оно начинается с самого начала, с Адама и Евы и кислого яблочка. Вскоре она приходит ко мне и ревет. Я, конечно, говорю: ну, старика твоего мы прижмем как следует; ведь тебе только через две с половиной недели будет шестнадцать. Придется ему раскошелиться, уж мы его выпотрошим. Так она не захотела. Можете себе представить! Очень уж она жалела старикашку, я так ничего и не могла с ней поделать. Наоборот, она даже сама опять пошла к нему; вот и видно, что это за человек. Как-то раз она показала мне его на улице: настоящая кляча. Ну никакого сравнения, т. е. ни малейшего сравнения с вами, господин профессор.

Она коснулась двумя пальцами лица Унрата. И не удовлетворенная его выражением, повторила с горячностью:

— Ни малейшего,— говорю я! — И вообще это был мерзавец. Он скоро умер, и что же вы думаете, что он завещал Розе? Свою фотографию в медальоне с секретным замочком. Получай, и лопни от счастья! Вполне понятно, что щедрый, еще хорошо сохранившийся человек, действительно полюбивший такую девушку, должен произвести на нее значительно более глубокое впечатление. Вот, что я говорю!

— Конечно значит... — Унрат обдумывал переход к следующему разделу темы.— Пусть все это и так, но тем не менее...



От смущения его улыбка казалась ядовитой.

— ...нет сомнения в том, что молодой человек, не совсем лишенный ума, с одной стороны, и чувства, с другой стороны, ей все-таки будет ближе.

Толстуха живо подхватила:

— Если вас только это беспокоит, то дело в шляпе. У нашей Розы мальчишки вот где сидят, поверьте мне!

И она крепко потрясла его за плечо, чтобы дать ему и физически почувствовать правду. Потом неуклюже соскользнула со стола и сказала:

— Ну вот и заболталась. Пора за работу. Я еще как-нибудь займусь с вами, господин профессор.

Она уселась перед зеркалом и стала натирать лицо жиром.

— Смотрите лучше на что-нибудь другое, это не очень-то красиво.

Унрат послушно отвернулся. Он слышал несколько взятых на рояле аккордов. Зал глухо шумел, как будто был уже наполовину полон.

— А ваши школьники, — бросила женщина, держа в зубах какой-то предмет, — могут сколько угодно вытягивать шеи и злиться.

Унрат не удержался от искушения бросить взгляд на окно. За красной занавеской, в самом деле, вытягивала шею чья-то тень.

В зале раздалось продолжительное гоготание. На пороге появилась актриса Фрелих, а за ней объемистая фигура актера Киперта заняла весь проход. Войдя, он крикнул:

— Очень лестно, господин профессор, что вы опять пришли.

Актриса Фрелих заметила:

— А, вот и он!

— Может быть, вы удивлены...—пробормотал Унрат.

— Нисколько! — заявила она.— Помогите мне снять пальто.

— ...что я так скоро повторил свое посещение...

— Да с чего вы взяли?

Подняв руки над головой и вытаскивая шпильки из огромной красной шляпы с перьями, она снизу вверх плутовски улыбалась Унрату.

— Но...— он был в затруднении.— Вы сами сказали, чтобы я пришел.

— Ну, конечно! — и взмахнув шляпой, как огненным колесом, она выпалила:

— С ума можно сойти от него!.. Да ведь я сама вас не выпущу... старикашечка!

И положив руки на бедра, она почти вплотную прильнула к лицу Унрата.

Он был похож на ребенка, испуганного тем, что фея на театральных подмостках потеряла фальшивую косу. Актриса Фрелих это заметила и немедленно изменила тактику. Склонив голову набок, она вздохнула.

— Но не подумайте, что мне было безразлично, придете ли вы. Ничего подобного. Наоборот, я все время говорила Густе: ведь он ученый и профессор, а я бедная неизвестная девушка, что же я могу дать такому человеку?.. Не правда ли, фрау Киперт, разве я вам этого не говорила?

Толстуха подтвердила.

— Но она, — сказала актриса Фрелих, невинно по-

жимая плечами,— все время утверждала, что вы опять придете. Вот вы и пришли!

Переодеваясь в углу, Киперт издавал какие-то неопределенные звуки. Жена делала ему знаки, которые должны были его умиротворить.

— Но кто мне сказал,— продолжала актриса Фрелих,— что вы приходите ради меня?.. Вы даже не хотите помочь мне снять пальто... Может быть, вы приходите только из-за противных мальчишек, которых вы хотите изрубить на котлеты?

Унрат покраснел, ища помощи:

— В первую очередь — конечно значит — первоначально...

Она страдальчески покачала головой.

Толстуха поднялась с места, чтобы прийти к ним на помощь. На ней была красная блузка с низким вырезом; она уже была во всеоружии и снова приобрела вчерашний блистательный цвет лица.

— Почему же вы не поможете Розе снять пальто? — спросила она.— Разве так поступают, когда о чем-нибудь просит дама?

Унрат начал тянуть за рукав. Рукав не поддавался, и пошатнувшись, актриса Фрелих упала в его объятия; он беспомощно замер.

— Вот как это делается! — учила его толстуха. Бесшумно подошел ее супруг, затянутый в трико, со складками жира на бедрах и волосатой бородавкой на шее. Он поднес к глазам Унрата крошечную газетку.

— Вот, прочтите, господин профессор. Ну и здорово же попадает этой шайке!

Унрат тотчас же принял вид знатока, поскольку дело шло о печатном слове. Он узнал местную социал-демократическую газетку.

— Итак, посмотрим,— сказал он,— как — именно, именно — обстоит с этим сочинением.

— Здесь пишут как раз об окладах учителей,— сообщил актер.— Мы только вчера говорили.

— Ах, брось! — решительно вмешалась его жена и взяла листок из рук Унрата.— Оклада ему хватает, ему нужно совсем другое. Но это не твое дело, выйди-ка, покажись милому стаду.

В зале гремел рояль, раздавалось хрюканье, рычанье, свист. Киперт повиновался. Он немедленно изобразил на лице восторженное самолюбование, еще вчера повергшее Унрата в недоумение, приплясывая, перешагнул через порог и нырнул в приветственно загудевший зал.

— Ну, от этого вы избавились, — сказала толстуха. — Пока они его переваривают, мы поможем Розе переодеться, господин профессор.

— Разве ему можно? — спросила актриса Фрелих.

— Должен же он знать, как раздевают и одевают женщину. Кто знает, как ему это может пригодиться в жизни.

— Ну, если вы ничего не имеете против... — и актриса Фрелих спустила юбку. Ее корсаж был уже растегнут, и Унрат с ужасом заметил, что под платьем она всюду была черной и блестящей. Но еще более странным было для него открытие, что вместо нижней юбки на ней были широкие черные панталоны до колен. Она не придавала этому никакого значения

и выглядела совсем безобидно. Но Унрат чувствовал себя, как будто ему нашептывали на ухо первые откровения таинства, как будто сорваны покровы с грозных явлений, скрытых под внешностью, под честной буржуазной внешностью, доступной обозрению полиции. И он ощущал гордость с примесью страха.

Киперт имел большой успех и начал новый номер.

— Лучше, если он теперь отвернется,— сказала актриса Фрелих,— сейчас я все сниму.

— Ах, господи, детка, ведь он солидный и благо-разумный человек, чем это может ему повредить?

Но Унрат поспешно повернулся спиной. Он насто-роженно прислушивался к шелесту. Толстуха что-то торопливо ему протянула.

— Возьмите и подержите!

Он взял, не зная, что берет. Это было что-то чер-ное, оно легко сжималось в маленький комочек, и от него исходила какая-то странная животная теплота. Вдруг оно выскользнуло у него из рук: он понял, по-чему оно было таким теплым. Это были черные пан-талоны.

Он поднял их и совсем притих. Работая, Густа и актриса Фрелих торопливо обменивались какими-то техническими замечаниями. Киперт снова кончил номер.

— Мой выход,— сказала его супруга,— помогите ей одеться. И видя, что Унрат не шевелится:

— Что вы, наступили себе на уши, что ли?

Он очнулся; он «спал», совсем как его ученики, когда им надоедал затянувшийся урок... Он покорно

схватился за шнурки корсета. Актриса Фрелих улыбалась ему через плечо.

— Почему вы все время стояли ко мне спиной? Ведь я уже давно вполне прилично одета.

На ней была оранжевая нижняя юбка.

— И вообще,— продолжала она,— я просила вас отвернуться только из-за Густы. Что касается меня, то я не прочь была бы знать, как вы находите мое сложение.

Унрат промолчал, и она нетерпеливо от него отвернулась.

— Затяните покрепче!.. Ах, черт побери, ведь я же говорю вам! Дайте-ка сюда, вам еще многому надо поучиться.

Она зашнуровалась сама. И видя, что он все еще беспомощно протягивает свои ничем не занятые руки:

— Так вы совсем не хотите быть любезным?

— Конечно значит,— смущенно-пробормотал он. Он подыскивал нужные слова и, наконец, сообщил, что в черном... черном одеянии он находит ее еще красивее.

— Ах вы, маленький поросенок! — сказала актриса Фрелих.

Корсет был в порядке... Густа и Киперт имели большой успех.

— Теперь моя очередь, — снова сказала актриса Фрелих.

— Остается только лицо.

Она уселась перед зеркалом, и ее пальцы проворно забегали, орудуя флаконами, баночками, цветными палочками. Унрат видел только непрерывное мелькание

в воздухе ее тонких рук, и перед его растерянными глазами началась игра переплетающихся розовато-бледно-желтых линий. Они рождались, менялись и, расплываясь, сейчас же уступали место новым. Он должен был брать со стола и подавать ей какие-то незнакомые ему предметы. Несмотря на свою лихорадочную работу, актриса Фрелих находила время топтать ногой, когда он приносил не то, что она требовала, и щекотать его взглядом, когда он подавал то, что нужно. Было совершенно очевидно, что способность ее глаз щекотать все время возрастала. В конце концов у Унрата не осталось никаких сомнений, что это от подаваемых им карандашей, которыми она подрисовывала себе глаза; от красных пятнышек в уголках век, красных полос над бровями и чего-то черного и жирного, чем она подводила ресницы.

— Ну, остается еще уменьшить рот,— сказала она.

И вдруг он снова увидел ее вчерашнее, совсем пестрое лицо. Только теперь сидела перед ним подлинная актриса Фрелих. Он видел ее возникновение! Он мельком заглянул в кухню, в которой изготовлялись красота, душа, сладострастие. Это было разочарование, но и посвящение в таинство. Он думал почти одновременно: «И это все!» и «Но ведь это великолепно!» Его сердце неистово билось... а между тем актриса Фрелих стирала с рук жирную краску, которая заставила это сердце так биться.

Потом она закрепила на волосах вчерашнюю изогнутую диадему... Публика неистовствовала. Она повела плечами в сторону зала и спросила, нахмурив брови:

— Вам тоже понравилось?

Но Унрат ничего не слышал.

— Ну, теперь вы кое-что увидите. Сегодня я пою одну очень серьезную вещь, поэтому я и надеваю длинное платье... Подайте-ка мне зеленое.

Унрату так приходилось метаться туда и сюда между охалками одежды, что фалды его сюртука развевались. Наконец, он нашел зеленое платье; и вот она уже стоит перед ним, сказочно облитая тканью, без талии, только слегка суженная гирляндой роз вокруг бедер и ляжек... Она взглянула на него, он ничего не сказал, но его лицом она осталась довольна. Она торжественно направилась к двери. Но вдруг обернулась, вспомнив о большом жирном пятне сзади; которое Унрат в этот момент созерцал.

— Его я не обязана показывать этим обезьянам, неправда ли?—заявила она с безграничным презрением. И величественно прошла в широко распахнувшиеся двери. Унрат отскочил, его могли увидеть.

Дверь осталась полуоткрытой. Из зала донеслось: «Господи боже, чорт побери!» и «Ишь ты, зеленое шелковое платье!» и «Один хвост чего стоит!»

Слышался также и смех.

Рояль залился слезами: дисканты жалобно всхлипывали, басы сморкались.

Унрат услышал, как актриса Фрелих запела:

Луна кругла, и звезды все сияют.

Послушай, — над серебряным прудом

Твоя любовь склонилась и рыдает..

Подобно матовым жемчужинам в черном потоке, рождались звуки из скорбной души певицы.



Унрат подумал: «Конечно значит,—и все же»... Ему стало тяжело и грустно. Он подкрался к щелке и увидел, как среди лампочек плавно ложатся и снова исчезают зеленые складки ее платья... Но вот она откинула голову, и в поле зрения Унрата появилась изогнутая диадема на рыжих волосах и яркая щека под высокой черной бровью. За одним из передних столиков раздался восторженный голос, голос плотно-го крестьянина в синей шерстяной куртке.

— Чорт возьми, до чего хороша девчонка! Вернешься домой, так на жену и смотреть не захочешь!

Унрат глядел на него с презрительной благосклонностью; он думал:

— Ну, конечно же... дружище.

Ведь он не присутствовал при том, как возникала артистка Фрелих. Он не знает, что такое красота, не призван судить о ней, должен брать ее в том виде, в каком она ему преподносится, и радоваться, если она отбивает ему вкус к жене.

Куплет кончился жалобой:

Влад с сердцем волны о челнок мой бьются  
И плачет сердце, звезды же смеются.

Но и среди слушателей кто-то засмеялся, вернее фыркнул. Разбуженный от своих грёз, Унрат тщетно искал его глазами. Второй куплет актриса Фрелих начала опять со слов: «Луна кругла». Во время припева «звезды же смеются» засмеялись уже шесть или семь человек. Один из них кудахтал, словно негр. Унрат увидел его: это и был негр. Чернокожий заражал своим смехом соседей. Унрат увидел, что многие

лица складываются в веселые улыбки, и почувствовал страстное желание силой привести мышцы этих лиц в спокойное состояние. Он переступал с ноги на ногу, его пронзила какая-то боль...

Актриса Фрелих возвестила в третий раз:

Луна кругла...

— Довольно! Это мы уже слышали!— крикнул кто-то громко и решительно. Несколько благонамеренных слушателей запротестовали против нарастающего шума. Но смех чернокожего заражал. Унрат увидел целые ряды черных разинутых ртов с торчащими из зияющих провалов желтыми клыками или полумесяцами белых оскалов от одного уха до другого; с венчиками окладистых морских бород и нашлепками из щетины над верхней губой. Унрат узнал приказчика, своего бывшего ученика, смеявшегося ему вчера в лицо и теперь во всю ширь разевавшего пасть в честь актрисы Фрелих. И ему ударил в голову обычный его гнев, трусливая ярость тирана. Все, что касалось артистки Фрелих, было его кровным делом! Он признал ее, он следил из-за кулис за ее выступлениями, был с нею связан, в известной мере даже сам предлагал ее вниманию публики. Тот, кто осмеливается оскорблять ее, посягает на него самого. Он уцепился за дверной косяк; ему казалось, что иначе он ринется в зал, чтобы угрозами, ударами и наказаниями привести к послушанию восставшую толпу беглых учеников.

Постепенно он разыскал их глазами, человек пять-шесть. Зал прямо кишел непокорными школьниками

прежних лет. Толстяки Киперт и Густа прогуливались между столиками и пили из стаканов посетителей, стараясь стяжать себе популярность. Унрат презирал их; они спускались на дно. А на недостижимой высоте стояла в своем зеленом шелковом платье, с изогнутой диадемой на голове, артистка Фрелих. Но публика не хотела ее, она кричала:

— Долой! Хватит!

И Унрат не мог этого изменить! Это было ужасно! Он мог запирать учеников в курятник, заставлял их писать сочинения о несуществующих предметах, подчинять себе их действия, их мозги, и если кто-нибудь из них осмеливался думать, мог прикрикнуть: «Не смейте думать!» Но он не мог заставить их находить прекрасным то, что по его разумению и указке было прекрасно. Может быть, в этом было последнее убежище их строптивости. Деспотические склонности Унрата наталкивались здесь на предельную грань человеческой покорности... Это было невыносимо! Он глубоко перевел дух, оглянулся, ища выхода из своего бессилия, и заметался в страстном желании раскроить такой вот череп и искривленными пальцами вложить в него понятие о подлинной красоте.

А актриса Фрелих сумела остаться безмятежно спокойной, уверенной в себе и даже посылала этим крикунам и злопыхателям воздушные поцелуи! Как своеобразно величественна была она в своем поражении!.. Но вот она стала в полуоборот к публике и что-то сказала вниз, пианисту. И внезапно веселое, приветливое выражение ее лица, без малейшего перехода, стало горестным и злым,— сразу, точно в ки-

нематографе. Унрату казалось, что она нарочно затягивает переговоры с пианистом и по возможности больше отворачивается от зала. Но это было возможно лишь до известного предела: публика могла увидеть жирное пятно у нее на спине. Вдруг она весело выпрямилась, подобрала зеленое шелковое платье, высоко взмахнула подолом оранжевой нижней юбки и разразилась отчаянной трелью:

Ведь я еще так мала и так невинна...

Ее сговорчивость была вознаграждена: ей хлопали, просили спеть с начала. Вернувшись в уборную и хлопнув дверью, она, задыхаясь, спросила:

— Ну, что вы на это скажете? Ловко я выкрутилась?

Все кончилось благополучно и ко всеобщему удовольствию; только в самом конце зала, у выхода, стоял, прислонившись к стене, бледный Ломан, устремив отсутствующий взгляд на руки, скрещенные на груди; он думал, о том, что его стихи, осмеянные чернью, улетели в темные улицы и, трепеща, несутся по волнам ночного эфира, к окну одной спальни, где они будут тихонько стучаться и где их никто не услышит...

Толстая Густа и Киперт вернулись в артистическую. Актриса Фрелих закинула голову и обиженно сказала:

— Попробуйте еще раз уговорить меня петь чепуху глупого мальчишки!

Унрат слышал, но не придавал этим словам никакого значения.

— Деточка,— сказала женщина,— на людей никогда нельзя полагаться, это известно. Если бы там не было негра, они бы плакали, а не смеялись.

— Мне, конечно, наплевать! — сказала актриса Фрелих.— Если только профессор даст нам что-нибудь выпить. Чем-то он нас угостит?

И два легких пальца, совсем как вчера, коснулись его подбородка.

— Вина?— предложил Унрат.

— Идет,— сказала она поощрительно.— Но какого?

Унрат был несведущ в карте вин. Он молил глазами о помощи, как «засыпавшийся» ученик. Киперт и его жена не сводили с него глаз.

— Оно начинается<sup>1</sup> с буква S,— подбодрила его актриса Фрелих.

— Шато<sup>1</sup>, — сказал Унрат и вспотел. Не будучи преподавателем новых языков, он не считал себя обязанным знать орфографию трактирных терминов. Он повторил:

— Шато...

— Не то,— ответила она в рифму;— после S идет E. Унрат не догадывался.

— А потом K... нет, вам ни за что не догадаться. Ну, разве не удивительно, что он такой недогадливый?

Вдруг лицо Унрата просияло от наивного счастья. Он нашёл:

---

<sup>1</sup> То есть schateau вместо château; слово château французского происхождения. П р и м е ч. п е р е в.

— Сект!

— Слава тебе, господи, наконец-то! — сказала актриса Фрелих. Густа и Киперт тоже подтвердили правильность решения задачи. Актер ушел передать заказ. Возвращался он через зал, и хозяин собственноручно нес перед ним большое ведро, из которого торчали два горлышка. Киперт шел следом в своем трико и надувал щеки, а вокруг восторженно гоготали.

В актерской стало весело. Каждый раз, как в стакан лилось вино, Унрат думал: это мое вино, тут уж Ломан ни при чем. И актриса Фрелих вдруг тоже заметила:

— На сект ваши глупые мальчишки ни разу не раскошелились.

Ее глаза защекотали сильнее:

— Да я бы их не стала и просить!

Но выражение лица Унрата оставалось бесстрастным, и она вздохнула. Киперт поднял стакан.

— Господин профессор, за тех, кого мы любим!

И он подмигнул Унрату и актрисе Фрелих. Она недовольно буркнула.

— Ерунда! Ему ни за что не догадаться!

Толстухе нужно было переодеться для следующего номера; за пением снова шла акробатика.

— Ну, того, как я влезаю в свое трико, господин профессор все-таки не увидит. Нет, и дружба имеет свои пределы.

Она взгромоздила друг на друга три стула, повесила на их спинки платья и спряталась за ними. Вышина сооружения была достаточна, но Густа значительно превосходила его в ширину. Присутствующие

ежеминутно видели какую-нибудь высовывающуюся часть ее тела и поднимали крик. Бросив руки на стол, актриса Фрелих хохотала и так заразила Унрата своим неумным веселием, что он, вытянув шею, то-и-дело скашивал глаза на загородку. Густа визжала, Унрат отшатывался и потом снова принимался за свою робкую игру.

Актриса Фрелих с трудом поднялась. Она сказала, задыхаясь:

— Со мной он бы такого себе не позволил. Провалиться мне на этом месте, если я вру!

И снова прыснула.

Зал неистовствовал, требуя зрелищ, и рояль уже не мог его обуздать. Толстякам пора было на сцену.

Оставшись наедине с Унратом, актриса Фрелих притихла. Он вдруг пришел в полное замешательство. Некоторое время у них было очень тихо; в зале пели. Она сказала:

— Опять эта дурацкая флотская песнь на турнирах. Ну, я когда-нибудь им здорово насолю... Но послушайте, ведь вы до сих пор не заметили здесь перемены.

— Здесь, в кур...? Здесь?— бормотал Унрат.

— Ну, да ведь известно, вам ни за что не догадаться!.. Разве вчера ничего не торчало у зеркала, справа и слева?

— Ах, да... конечно значит... два букета.

— А вы, неблагодарный, даже не замечаете, что ради вас я сунула эти веники в печку.

Она надулась. Взглянув на печку, Унрат вспыхнул от удовольствия; актриса Фрелих сожгла цветы Ло-

мана. Вдруг его охватило страшное беспокойство; ему пришло в голову заменить букеты Ломана двумя другими, которые он сам принесет актрисе Фрелих!.. Он установил, что за красной занавеской никого нет. И взволнованный жаждой померяться силами с Ломаном:

— Милая — именно, именно — фрейлен, вы, конечно, еще виделись вчера вечером с молодыми людьми?

— Зачем же вы ушли так рано? Что мне оставалось делать, если они опять притащились... Но я сказала им всю правду, особенно одному...

— Отлично... А сегодня вечером, идя сюда — конечно значит — вы встретили этих трех учеников?

— Подумаешь, какое это для меня счастье!

— Милая фрейлен, если вы не можете обойтись без цветов и секта, вы будете их иметь от меня. Недопустимо, чтобы вы получали их от учеников.

Он мучительно покраснел и оживился: внезапно и таинственно обострившееся чутье вдруг подсказало ему, что под «чепухой глупого мальчишки», которую актриса Фрелих больше не хотела петь, подразумевалась песнь о круглой луне и что эта песнь — произведение Ломана. Он сказал:

— Не пойте песни о круглой луне, и вообще не пойте песен ученика Ломана.

— А если я не могу без них обойтись, — сказала она, не переставая улыбаться, — вы сами будете мне их сочинять?

Это застало Унрата врасплох. Все же он заверил:

— Я посмотрю, что можно будет сделать.



— Да, пожалуйста, посмотрите. Да и помимо этого... многое можно сделать. Надо только догадаться.

И приблизив к нему лицо, она протянула ему тубы.

Но Унрат не догадался. Он смотрел на нее беспомощно, со смутным недоверием. Она осведомилась:

— Зачем, собственно, вы пришли?

— Ученики не должны... — забормотал он.

— Ну, ладно!..— и она занялась своим туалетом.— Мне надо надеть что-нибудь короткое. Помогите мне.

Унрат повиновался. Вернувшиеся после своего триумфа толстяки испытывали сильную жажду. Только в одной бутылке оставалось еще немного вина, не больше полстакана. Киперт изъявил готовность сходить за новой порцией. Унрат попросил его об этом. Актрисе Фрелих поспешно налили вина; ей нужно было на сцену. Она покрыла себя славой. Сект становился все слаще, Унрат все счастливее. Когда наступила очередь актера, он вышел на сцену на руках и был встречен безудержным восторгом. Тогда он стал применять этот способ передвижения при каждом выходе. С каждым новым выступлением темперамент актрисы Фрелих разворачивался все жарче и встречал все более бурное признание. Унрат не мог себе представить, что ему когда-нибудь придется встать со стула. Уже уходили последние посетители. Сияя весельем, актриса Фрелих сказала:

— Вот так мы живем каждый день, профессорчик, а по воскресеньям у нас еще шикарнее.

И вдруг она разрыдалась. Словно сквозь дымку ви-

дел пораженный Унрат, как она уткнула нос в лежащие на столе руки и как взлетала и опускалась ее изогнутая диадема.

— Ведь все это только блестящая оболочка,—про рыдала она, — а на душе сплошной мрак.

Она продолжала причитать.

Унрат мучительно придумывал, что бы ей сказать в утешение. Пришел из зала Киперт, поднял его со стула и предложил проводить до выхода. У двери Унрат придумал... Он обернулся, его рука беспомощно шарила по воздуху, ища уже заснувшую актрису Фрелих. И он пообещал ей:

— Я постараюсь вас протащить!

Так мог сказать учитель перед экзаменом ученику, к которому благоволил, или так мог о нем подумать. Но Унрат еще никому этого не говорил и ни о ком так не думал.

## VII

Уже пробило четверть девятого, а Унрат все еще не являлся. Жадно наслаждаясь своей свободой, класс шумел до одури, до иступления. Все без толку вопили: «Унрат, Унрат!». Некоторым было достоверно известно, что он умер. Другие клялись, что он запер свою экономку в курятник, уморил ее голодом и сидит теперь в тюрьме. Ломан, Эрцум и Кизелак хранили молчанье.

Неожиданно Унрат большими шагами подошел к кафедре и осторожно, словно у него болели все кости, опустился в кресло. Многие не заметили его при-

сутствия и продолжали орать: «Унрат!». Но он, казалось, не стремился «уличить» их. Он был очень бледен, терпеливо ждал, пока можно будет заговорить, и ставил отметки самым причудливым образом. Один ученик, к которому он обычно жестоко придирался, почти десять минут нес какую-то чепуху, и Унрат его терпеливо выслушивал. Другого он ядовито оборвал на первом же слове. Он снова смотрел мимо Эрцума, Ломана и Кизелака, но думал только о них. Он спрашивал себя, не стояли ли они вчера во время его мучительного возвращения домой как раз на углу того здания, мимо которого он пробирался, испытывая страшную тошноту, цепляясь обеими руками за стену. Ему даже казалось, что он их толкнул и извинился. Но и тогда его мысль оставалась несокрушимо ясной, и он ни на секунду не терял сознания того, что переживания его ни в коем случае не должны стать всеобщим достоянием.

Унрат испытывал мучительную тревогу, потому что он ничего достоверно не знал. Что было известно этим трем негодьям?.. Что произошло вчера, после того как он ушел? Вернулись ли они в «Голубой ангел»? Вернулся ли Ломан в курятник? Актриса Фрелих плакала; возможно даже, что она уже спала. Но, может быть, Ломан разбудил ее?.. Унрат томился желанием заставить Ломана перевести самое трудное место, но не решался.

Ломан, граф Эрцум и Кизелак не спускали с него глаз. Кизелак видел во всем этом, главным образом, смешное, Эрцум — унижительное, Ломан — жалкое; но независимо от этого все трое испытывали своего рода

ужас, ощущение страшной тайны, связывающей их с тираном.

Выйдя во время перемены во двор, Ломан прислонился к залитой солнцем стене и, скрестив на груди руки, прислушивался, как вчера у закоптелой стены зрительного зала, к внутреннему голосу, изливавшему его горе в стихах. Как бы случайно подошел Эрцум и уныло спросил:

— Она лежала на столе и спала? Не может этого быть, Ломан!

— Говорю тебе, она храпела. Он напоил ее.

— Подлец! Если я его еще раз...

Эрцум постыдился досказать свою похвальбу. Влача на себе школьное ярмо, он лишь молча скрежетал зубами. Его собственное бессилие внушало ему еще больше отвращения, чем Унрат. Он недостоин Розы!

Пользуясь оживленной толкотней школьников, Кизелак незаметно подошел к своим сообщникам; прикрыв рот и скривив губы, он шепнул со злобным ликованием:

— Он влопается, говорю вам, он здорово влопается!

И затем бросил на ходу:

— Пойдете туда?

Они молча пожали плечами. Ведь это разумелось само собой!

Для Унрата это было обязанностью, и чем больше он привыкал к актрисе Фрелих, тем радостнее становился этот долг. Чтобы Ломан не опередил его, он

приходил в «Голубой ангел» всегда первым. Он приводил в порядок туалетные принадлежности, отбирал самые чистые нижние юбки и панталончики, откладывал на отдельный стул то, что нуждалось в починке. Актриса Фрелих появлялась поздно, она уже начала полагаться на Унрата. Он скоро наловчился развязывать на ней своими старческими пальцами всевозможные узелки, расправлять банты, вытаскивать из укромных мест булавки. Розово-бледножелтая игра ее проворных рук, накладывающих грим, постепенно приобретала для него осмысленность. Он научился разбираться в палитре ее лица, изучил название и назначение цветных палочек и флаконов, мешочков и коробочек, жирных пузырьков и баночек, и украдкой усердно практиковался в их применении. Актриса Фрелих заметила его усердие. Как-то вечером она села перед зеркалом, откинулась на спинку стула и сказала:

— А ну-ка!

И он с таким совершенством привел ее голову в порядок, что ей не пришлось и пальцем пошевелить. Она удивилась его искусству и пожелала узнать, каким образом он так скоро его достиг. Густо покраснев, он что-то пробормотал; но ее любопытство осталось неудовлетворенным.

Унрат радовался приобретенному им в актерской значению. Теперь для Ломана не оставалось ни малейшей надежды заменить его. Разве он запомнил бы, что розовое болеро нужно отправить в красильню? Да, конечно, если бы он упражнял свою память старательным заучиванием заданных стихов Гомера. Вот они последствия безделия!.. Как большой черный па-

ук, двигался Унрат между разбросанным по мебели и полу чистым бельем, проворно хватая его своими худыми, скрюченными пальцами. Под его старчески-ми, костлявыми руками, шурша и шелестя, разглаживалась мягкая ткань. Некоторые вещи неожиданно принимали тайно хранимые ими формы: руки, ноги. Унрат смущенно косился на них, думая:

— Итак, значит — все-таки —

Потом он подкрадывался к дверной щелке и смотрел на певицу, голос которой визжал и дребезжал под грохот рояля, а руки и ноги жестикулировали в дыму, смотрел на глухие головы, раскачивавшиеся, точно тюльпаны на грядке, и не сводившие с нее глаз. Он гордился ею, презирал зал, когда он аплодировал, пылал ненавистью к нему, когда он молчал, и испытывал совсем особое чувство, когда он ржал от удовольствия, потому что, низко кланяясь, актриса Фрелих щедро показывала залу вырез своего корсажа... Тогда Унрата охватывала неистовая дрожь... Но вот, словно подхваченная вихрем успеха, влетала она в уборную, и он мог накинуть ей на плечи мантию и немного попудрить ей шею.

При этом она давала ему чувствовать свое настроение. Смотря по тому, подставляла ли она ему мило-ство плечи или швыряла в него пуховкой, засыпая ему глаза пудрой, Унрат воскресал или падал духом. Его взгляд, проникавший в ее женское существо, снимал с нее больше, чем одежду. Унрат убедился, что наравне с тканями и пудрой можно в известной степени осязать и обонять душу; что пудра и платья почти равноценны душе...

Актриса Фрелих бывала то раздражительной, то приветливой. Ее неожиданная ласковость выбивала его из колеи. У него было гораздо лучше на душе, когда она бранилась. Но иногда она вспоминала о своем плане, проведение которого явно нагоняло на нее скуку. Она вспоминала полученные советы, которым следовала, правда, без твердой уверенности в их пользе. В эти минуты она внезапно становилась скромной, чувствительной, и лицо ее принимало такое выражение, как будто она сидела у его ног; выражение, совершенно необходимое, если хочешь чего-нибудь добиться у серьезного человека. Но вскоре — и это приносило Унрату огромное облегчение, хотя он и не понимал почему — она снова сталкивала его со стула, как ворох нижних юбок.

Однажды она даже дала ему пощечину. Быстро отдернув руку, она осмотрела ее, понюхала и удивленно сказала:

— У вас жир на лице!

Он беспомощно покраснел, и она разразилась:

— Он красится! Ох, умереть можно! Вот почему он так скоро наловчился! Он украдкой учится на самом себе! Ах вы... Унрат!

Лицо Унрата исказилось от ужаса.

— Да, да, Унрат!

Она приплясывала вокруг него.

И вдруг он счастливо улыбнулся... Она знала его имя, знала его от Ломана и других и, вероятно, уже давно: это обстоятельство его сильно потрясло, но не мучительно, а радостно. Он ощутил мимолетное сомнение и легкий стыд, — как же это так, как мо-

жет он быть счастлив тем, что актриса Фрелих назвала его этим недостойным именем? Но наконец-то он чувствовал себя счастливым! Кроме того, он не имел времени на размышления, — она послала его за пивом.

Унрат не только заказал его; он велел хозяину итти впереди с кружками через весь зал; прикрывая сзади транспорт пива, он предотвращал возможность его похищения по дороге. Однажды хозяин предложил ему самому захватить пиво. Высокомерное достоинство его отказа навсегда отбило у трактирщика охоту повторить эту ошибку.

Прежде чем выпить, актриса Фрелих сказала:

— Ваше здоровье, Унрат.

И помолчал:

— Странно, что я называю вас Унратом? Да, в сущности, это странно. Ведь между нами ничего нет. Как давно мы знакомы? Чего только не делает привычка... Но знаете, что я вам скажу: если бы Киперт и его жена вдруг исчезли в любой момент, я бы и слезинки не пролила. Ну, а вы... другое дело...!

Ее взгляд стал задумчивым и неподвижным. Вся уйдя в свои мысли, она спросила:

— Но что это значит? Чего вы хотите?

## VIII

Об этом Унрат никогда не думал, и когда он поздно вечером расставался с актрисой Фрелих, его волновало только одно: неизвестность относительно Кизе-лака, фон Эрцума и Ломана. Страх перед их тайной



деятельностью постепенно довел его до того, что он был готов допустить решительно все и не задумался бы перешагнуть через все границы человеческих взаимоотношений. Подойдя однажды к «Голубому ангелу», он услышал позади шаги. Стараясь итти как можно тише, чтобы они не услышали, когда он останется, он спрятался за угол и неожиданно появился перед ними со склоненной набок головой.

Они отпрянули; Унрат, ядовито поблескивая глазами, сказал с заигрывающей веселостью:

— Вот как, я вижу, что вы — опять-таки значит — увлекаетесь искусством. Правильно делаете. Пойдемте. Мы обсудим все пройденное вами. Это даст мне возможность установить ваши успехи в данном предмете.

И видя, что они не двигаются с места и явно сторонятся жуткой интимности с тираном, он добавил:

— Мое приобретенное таким образом мнение о вашем общем развитии может иметь некоторое влияние — поистине верно — на ваши будущие отметки.

Подозвав Ломана, он велел двум остальным итти впереди. Ломан пошел с ним очень неохотно. Но Унрат сразу заговорил о его песне о круглой луне.

— «Твоя любовь склонилась и рыдает», — сказал он. — Любовь, как понятие абстрактное, рыдать, конечно, не может. Но поскольку вы рассматриваете «любовь», как олицетворение вашего душевного состояния и поскольку эта поэтическая субстанция выходит из ваших недр, чтобы плакать на берегу выдуманного вами пруда, то пусть будет так... Од-

нако, как преподаватель, я должен присовокупить, что подобное душевное состояние никоим образом не добавляет шестикласснику, да еще такому, у которого весьма неопределенные шансы перейти в следующий класс.

Ломан, испуганный и огорченный тем, что Унрат своими жесткими пальцами копается в его душе, ответил:

— Все это от начала до конца поэтическая вольность, господин учитель. Пустяковая выдумка, *l'art pour l'art*<sup>1</sup>, если вам знакомо такое выражение. К душе это никакого отношения не имеет.

— Пусть будет так,— повторил, Унрат.— Но впечатление, произведенное вашим стихотворением на публику, это исключительно заслуга — именно, именно — исполнявшей его артистки.

Упоминание об актрисе Фрелих разбудило в нем чувство гордости; он подавил его, задержав дыхание, и быстро перевел разговор. Поставив Ломану на вид его романтическую поэзию, он потребовал от него более усердного изучения Гомера. Ломан утверждал, что немногие действительно поэтические места у Гомера давно превзойдены. Собака, умирающая при возвращении Одиссея, гораздо ярче изображена в «*La joie de vivre*» Эмиля Золя. — Если вы об этом слышали, господин учитель, — добавил он.

Наконец, они заговорили о памятнике Гейне, и Унрат повелительно и, словно мстя Ломану, крикнул в ночь:

---

<sup>1</sup> Искусство для искусства (франц.) Прим. пер.

— Нет! Никогда!

Они остановились у городских ворот; здесь Унрату нужно было свернуть. Вместо этого он последовал за ними по пустынному луку и подозвал Кизелака.

— А вы идите в паре с вашим другом фон Эрцумом,— сказал он Ломану. В этот момент все его мысли были поглощены Кизелаком. Семейные обстоятельства этого ученика не внушали ему доверия. Его отец был мелким чиновником и работал в порту по ночам. Кизелак говорил, что живет вдвоем с бабушкой. Унрат подумал, что дряхлая старуха не в состоянии ограничить ночную свободу Кизелака. А ворота «Голубого ангела» еще долго будут открыты.

Кизелак догадался о том, куда клонит учитель.

— Бабушка бьет меня,— заверил он Унрата.

Фон Эрцум, шедший впереди под бдительным взглядом учителя, опустил судорожно сжатые кулаки и глухо сказал Ломану:

— Не советую ему заходить слишком далеко. Всею есть конец.

— Мне кажется, что до конца еще далеко,— возразил Ломан.— Эта история нравится мне все меньше.

И снова Эрцум:

— Послушай, Ломан, я хочу тебе что-то сказать... Мы здесь все равно что одни, до самого дома вдовы Блос нет ни фонаря, ни полицейского поста. Если я обернусь назад и убью его... надеюсь, вы не станете меня удерживать... Эта женщина... эта женщина в когтях у такого негодяя, такой жабы! Ее частота!.. Слушай, дружище, что-то должно случиться!

Возбуждение фон Эрцума росло, так как он видел,

что товарищ изумлен. Но это его нисколько не смущало, и он уже не стыдился своих угроз, потому что сегодня он чувствовал себя способным привести их в исполнение.

Ломан медлил с ответом.

— Конечно, если бы ты его убил, это было бы событием, этого отрицать нельзя,— сказал он, наконец, усталым голосом.— По крайней мере хоть один из нас решился действовать... распахнул дверь... вместо того, чтобы постоянно стоять за ней в страхе быть пойманным, когда ее откроют изнутри.

Ломан умолк и напряженно ждал, что сейчас его друг скажет ему в упор, что он знает о его любви к фрау Доре Бретпот. Мысленно он уже играл приготовленным для этого случая ружьем. Но его признание растаяло неслышанным.

— Другой вопрос,— и Ломан скривил рот,— сделаешь ли ты это... Нет, и ты этого не сделаешь.

Фон Эрцум бешено рванулся назад. Теперь фонарь вдовы Блос был уже близко, и Ломан увидел, как в глазах его друга мелькнуло безумие. Он схватил его за руку.

— Без глупостей, Эрцум!

И он принял вид скептика.

— Ведь этого в жизни не бывает, серьезно о таких вещах не думают. Посмотри на него. Разве таких, как он, убивают? В отношении таких просто пожимают плечами. Неужели у тебя есть желание после фигурировать в газетах рядом со стариком Унратом? Какой конфуз!

Лихорадочное возбуждение Эрцума постепенно

улеглось. Ломан немного презирал своего друга за то, что тот уже снова был безопасен.

— Кроме того, — заметил он, — у тебя есть возможность действовать гораздо разумнее, а ты ничего не делаешь. Ты требовал денег у Бретпота?

— Н-нет.

— Вот видишь. А ведь ты хотел пойти к опекуну, рассказать ему о своей страсти и о своем твердом решении следовать ей, о том, что ты мужчина и лучше пойдешь служить рядовым, чем отдашь свою любимую какому-то негодяю. Ты хотел разделаться ради нее со школой, — вот чего ты хотел!

Эрцум пробормотал:

— А что бы из этого вышло?

— Как, что?

— Денег он бы мне не дал. А взял бы меня в ежовые рукавицы, и мне нельзя было бы даже встречаться с Розой.

Ломану тоже показалось, что такой образ действия опекуна не лишен вероятия.

— Я могу одолжить тебе триста марок, — сказал он небрежно. — Если ты хочешь бежать с ней...

Эрцум ответил сквозь зубы:

— Спасибо.

— Нет? Ну, не надо!

Ломан тихо и злобно засмеялся.

— Но ты совершенно прав. Прежде, чем сделать кого-нибудь графией, надо хорошенько подумать. А на меньшее она не согласится.

— Я и сам не хочу иначе, — сказал фон Эрцум печально и просто. — Но она вообще не хочет... Ах, ты

не знаешь! Никто не знает, что с воскресенья я — отчаявшийся человек. Собственно говоря, смешно; что вы принимаете меня за прежнего и что я сам себя так веду!

Они помолчали. Ломан был крайне недоволен; он чувствовал себя задетым, оскорбленным в своей любви к Доре Бретпот, потому что теперь и Эрцум из-за этой смешной Фрелих попал в трагическое положение. Его коробило от такой параллели.

— В чем дело?— спросил он, нахмутив лоб.

— В воскресенье, во время прогулки к кургану с тобой, Кизелаком и... Розой... Я наслаждался обществом Розы без Унрата... В кои-то веки. Я вообще был совершенно уверен...

— Правда, ты был сначала в чудесном настроении. Ты даже пытался разрыть курган гуннов, насколько это было возможно.

— Ах да! Как вспомню... когда я возился с курганом, я был еще другим человеком, это было до того... После завтрака мы были все равно, что одни в лесу, Роза и я; вы с Кизелаком уснули. Я собрался с духом: в последний момент я было струсил. Но ведь она всегда хорошо обращалась со мной, совсем иначе, чем с тобой, неправда ли?.. Казалось, она только ждет моего признания. Я взял с собой все деньги, какие у меня были, в полной уверенности, что мы больше не вернемся в город, а пройдем через лес прямо на станцию.

Он умолк, и Ломану пришлось подтолкнуть его.

— Она недостаточно тебя любит?

— Она сказала, что слишком мало меня знает. Ты думаешь, что это отговорка?.. Она говорила еще,

что нас поймают и тогда ее упрячут в тюрьму за соращение несовершеннолетнего.

Ломан стоически боролся с душившим его смехом.

— Такая холодная рассудительность,— с трудом выговорил он,— вряд ли свидетельствует о настоящем чувстве. Во всяком случае, она любит тебя меньше, чем ты ее. С другой стороны, и тебе следовало бы подумать, не слишком ли много сердца ты вложил в это дело, не потребовать ли тебе часть вклада обратно. Не создалось ли у тебя впечатление после вашей беседы у кургана, что она недостойна того, чтобы ты бросил к ее ногам всю свою будущность?

— Нет, такого впечатления у меня не создалось,— серьезно сказал фон Эрцум.

— Ну, тогда ничего не поделаешь!— решил Ломан. Они подошли к дому пастора Теландера. Эрцум взобрался по колонне на балкон. Стоя между Кизелаком и Ломаном, Унрат смотрел ему вслед. Когда Эрцум исчез в окне, он задумчиво повернулся. Он думал о том, что если фон Эрцум захочет, он может снова спуститься... Но он почти не боялся фон Эрцума, он презирал его простоту.

Унрат проводил двух остальных обратно в город и передал Кизелака во власть его бабушки.

Затем он прошел с Ломаном до дома его родителей, услышал, как закрылись ворота, увидел, как вспыхнул и снова погас свет; подождал еще несколько минут. Нет, ничего не произошло.

Тогда он набрался, наконец, решимости, чтобы отправиться спать.

Всех любопытных Унрат сурово отгонял от дверей актерской. Матросы думали, что он «вербовщик», нанявший актеров. Те, что не считали его директором труппы, принимали его за отца. В публике сидели и знавшие его; эти неуверенно посмеивались.

В первые вечера они громко издевались над ним. Но Унрат смотрел мимо них, безучастно и презрительно. Он имел здесь огромное преимущество перед ними. Скоро они это поняли и почувствовали себя униженными — они сидели здесь за свои деньги и только глазели, тогда как Унрат с видом посвященного открывал дверь перед актрисой Фрелих, к которой все они страстно стремились. И невольно они начали уважать Унрата, а их попытки все еще находить его смешным становились с каждым днем все более нерешительными. За это они мстили ему шушуканьем в закоулках больших торговых домов. Отсюда первые слухи об образе жизни Унрата проникли в город. Город поверил им не сразу. Ученики старика Унрата сегодня утверждали, что он запер в курятник свою экономку, завтра еще что-нибудь придумывали. В этом не было ничего необыкновенного, и город только посмеивался.

Но когда «Голубой ангел» посетил некий молодой учитель, явившийся в надежном сопровождении одного из самых старых преподавателей — полуглухого старца, перед ним раскрылась истина. На следующий день в учительской глухой преподаватель сказал Унрату несколько назидательных слов о достоинстве



воспитателя. Молодой учитель скептически улыбался. Остальные смотрели в сторону; многие пожимали плечами. Унрат пришел в ужас: это было просто неслыханным покушением на его могущество. Его подбородок запрыгал; он сказал:

— Это — поистине право — не ваше дело.

У дверей он обернулся.

— Мое достоинство — итак, внимание — принадлежит только мне!

Он несколько раз жадно втянул в себя воздух и, дрожа всем телом, вышел из школы. Он прошел уже полдороги, а его все еще тянуло назад. Целый день он мучился тем, что ушел, не дав надлежащего ответа. Он должен был открыто заявить, что артистка Фрелих достойнее всех учителей, прекраснее глухого преподавателя и выше самого директора. Она — единственная, и вместе с Унратом она возвышается над остальным человечеством, которое одинаково свято-татствует, посягая на нее или сомневаясь в нем.

Но извилистое течение этих мыслей было еще недостаточно обследовано, слишком они были темны и неосвоены, чтобы открывать их людям. Эти мысли глухо волновали его; в тиши кабинета с ним случались припадки; тогда он сжимал кулаки и скрежетал зубами. А в воскресенье он пошел с актером Кипертом на политические выборы в штаб-квартиру социал-демократической партии. Он действовал по внезапному наитию. Власть касты, к которой принадлежал Ломан, подлежала, как он открыл, свержению.

До этого все старания актера завербовать Унрата наталкивались на его надменную и насмешливую

улыбку, улыбку просвещенного деспота, поддерживающего церковь, власть, народное невежество, закоснелые традиции и предпочитающего умалчивать о своих побудительных причинах. Но сегодня он вдруг решил все ниспровергнуть, объединиться с чернью против надменной знати, призвать чернь во дворцы — и похоронить сопротивление немногих во всеобщей анархии.

В тяжело нависших под потолком избирательного помещения испарениях народного духа сознание Унрата померкло, и в нем вспыхнула жгучая жажда разрушения. Стуча покрасневшими костяшками пальцев по заставленному пивными кружками столу, он потребовал:

— Итак, значит вперед — я не расположен терпеть это дальше!

Это был порыв; на следующий день он уже раскаивался в нем. Кроме того, он узнал все: в то время как он устраивал переворот, актриса Фрелих исчезла куда-то из города. Охваченный страхом, Унрат тут же подумал о Ломане.

Сегодня Ломана не было в классе! Какое беззаконие творил он в это время? Стоило Унрату отвернуться, как тот уже торчал у актрисы Фрелих. И вот теперь он окончательно убежал к ней. Он скрывается в ее комнате. Унрат томился жаждой увидеть ее комнату, обыскать ее.

Все эти дни он трепетал от ужасных подозрений. В школе он свирепствовал, губя карьеру шестиклассников. В актерской он накинулся на толстуху, об-

виняя ее в пагубном влиянии на артистку Фрелих. Та снисходительно засмеялась.

Актриса Фрелих сама ответила:

— С ума я сошла, что ли, чтобы устраивать с вашими тремя школьниками пикники? Да лучше мне умереть на месте, чем подыхать со скуки с этими мальчишками.

Он с ужасом смерил ее с ног до головы. И в страстном стремлении оправдать артистку Фрелих, уверовать в ее чистоту, снова набросился на толстуху.

— Извольте отчитаться! Что сделали вы с доверенной вам артисткой Фрелих?

Женщина невозмутимо сказала:

— Вы становитесь, наконец, смешны!

Открыв дверь, она обернулась.

— Ведь с вами сыт не будешь!

И уходя:

— Да и счастливым тоже.

Унрат мучительно покраснел. Актриса Фрелих расхохоталась.

— Он просто недогадив! — объявила она, хотя, кроме их двоих, в актерской никого не было. И больше они ничего друг другу не сказали.

Каждый раз, как толстяки появлялись в артистической, Унрат пылал жаждой ссоры. Он уже давно обращался с ними строго. Чем значительнее становилась в его глазах актриса Фрелих, чем жарче защищал он ее, чем резче противопоставлял всему человечеству, тем меньше места на стульях актерской оставалось для юбок толстухи и трико Киперта. Он ставил супругам в вину их успех у публики и шум-

ную веселость. После одного акробатического номера он попросил актера удалиться из комнаты, потому что тот очень вспотел, а в присутствии такой дамы, как артистка Фрелих, это непристойно.

Киперт засеменил к двери, добродушно заметив:

— Из масла она, что ли, что впитывает в себя запахи!

Его жена была слегка задета, но рассмеялась и подтолкнула Унрата. Он отряхнул рукав, и это ее серьезно обидело.

Актриса Фрелих только хихикала. Невозможно было не чувствовать себя польщенной. Толстяки постоянно раздражали ее успехом, который имела их флотская песня. Но Унрат не переставал утверждать, что настоящая артистка только она. Наивный интриган, он разжигал в ней чувство соперничества и привлекал ее к себе, учя презирать весь мир и опираться только на него, как на своего неизменного рыцаря. Он требовал от нее глубочайшего презрения к публике, успеха у которой она добивалась, и к каждому отдельному посетителю, которому она нравилась. Он особенно ненавидел толстуху за то, что та постоянно приносила из зала вести о том впечатлении, которое производила артистка Фрелих.

— Как! Возможно ли? — восклицал он. — И этот человек осмеливается раскрыть рот? Тот самый Мейер, который девятнадцати лет не мог окончить гимназию и, в конце концов, поступил на военную службу простым рядовым.

Актриса Фрелих улыбалась, скрывая смущение: рядовой Мейер ей нравился. Ей хотелось бы, чтобы он был ей противен. Восприимчивая от природы, она

ценила, что такой человек, как Унрат, занимается ее воспитанием. Это случилось с ней впервые. И она сердито оборвала толстуху, попытавшуюся вставить слово в защиту Мейера.

Однажды она сказала, щекоча под носом Унрата цветами:

— Вот эта роза с червоточиной от того толстяка, что сидит недалеко от рояля.

— Деточка,— заметила толстуха,— ведь это владец табачной лавки на рынке. Шикарный мужчина! Киперт всегда у него берет. Магазин, хоть куда!

— А что скажет на это Унрат?— спросила актриса Фрелих.

Унрат сказал, что ученик этот был одним из худших и что как делец он тоже немногого стоит, потому что ни разу еще не прислал ему счета, где бы не была переправлена первая буква его фамилии. Но толстуха нашла, что это еще ровно ничего не значит. Тогда Унрат сказал, что купец этот пользуется дурной репутацией в деловом мире. Видя, как он изрыгает пламя, актриса Фрелих покачивала бедрами и нюхала розу с червоточиной.

— Уж вы про каждого что-нибудь да скажете!— заметила толстуха.— А чего вам здесь, собственно говоря, нужно? Можете вы это объяснить?

И видя, что Унрат молчит:

— Ведь сами-то вы здесь ничего путного не делаете.

С — Н-нет, он ведь недогадлив,— и актриса Фрелих хлопнула себя по колену, а Унрат вспыхнул.

— Ну, в таком случае, оставьте вы его с его премудростью и довольствуйтесь менее умными,—они то-

же чего-нибудь да стоят, по крайней мере, хоть о самых простых вещах догадываются. Вы понимаете, Розочка? Ведь у меня есть основания давать вам такие советы, неправда ли? Не могу же я ждать бесконечно.

И она ушла с Кипертом петь флотскую песню. Актриса Фрелих чуть не плакала от злости.

— Господи боже, она может довести человека до белого каления!

И она сжала руки.

— По правде говоря, — добавила она, овладев собой, — эта особа ужасно действует мне на нервы.

И продолжая стоять, в отчаянии:

— А у вас ни капли жалости!

И Унрат вдруг почувствовал гнет какой-то ежедневно и почти незаметно растущей своей вины и полное бессилие от нее избавиться.

Все время, пока слышна была флотская песня, актриса Фрелих металась по актерской и стонала.

— Наконец-то! Придумала! Ведь я всегда говорила, что насолю толстякам. Разве не говорила? Теперь я им покажу!

И не успели супруги Киперт окончить песню немецких морских героев, как она стремительно вылетела на сцену и провизжала в еще потрясенный патриотическим восторгом зал:

Мой муженек, он капитан,  
Он в море круглый год,  
Когда воротится домой,  
Мне ж... надерет.

Сначала все оцепенели; потом возмущенно зашумели и, наконец, очарование контраста дошло до слушателей.

Рискованная выходка актрисы Фрелих удалась, и она вернулась торжествующая.

На этот раз толстуха расвирепела.

— Мы с Кипертом из кожи лезем, чтобы люди получили понятие о возвышенном. А потом является она и издевается над самым священным. Разве это не низость!

Унрат не соглашался с ней. Он утверждал, что в искусстве все направления равноценны, что все, что исходит от великого мастера, прекрасно и что самое священное— это талант актрисы Фрелих. Актриса Фрелих дополнила его доводы несколькими словами, обращенными к толстухе:

— Мне на вас вообще...

Тут вошел Киперт, пропуская вперед коренастого человека с красным мясистым лицом, окаймленным рыжеватой бородкой. Высоко подняв брови, гость сказал:

— Чорт побери, барышня, ну и ловкая же вы девчонка! Ха, ха, ха! «Когда воротится домой, мне ж... надерет». Дело в том, что я тоже капитан, и если вы желаете со мной выпить...

Унрат мгновенно вмешался.

— Артистка Фрелих—поистине верно—ни с кем не пьет. Вы ошиблись, дружище. Кроме того, в этот кур... эту артистическую вход посторонним воспрещен.

— Сударь! Вы, конечно, шутите!— и капитан еще выше поднял брови.

— Отнюдь нет. Напротив, я ставлю вас в известность, что вы должны удалиться.

Супруги Киперт не выдержали.

— Господин профессор,— сказал актер горячо и оскорбленно,— если я привожу сюда друга, с которым только что выпил на брудершафт, то это мое личное дело.

Его жена, наконец, разразилась:

— Да на кой чорт он вообще нужен! Никому ничего не дает заработать! От самого, как от козла молока, да еще и людей выгоняет. Роза, идите с капитаном!

Унрат весь посерел; он дрожал.

— Артистка Фрелих,— крикнул он тробовым голосом,— не такого рода женщина, чтобы ей подобало пить ваше пиво!

Его взгляд пронизывал ее; она вздохнула.

— Уходите лучше, — сказала она, — ничего не поделаешь.

Унрат, ликуя, подскочил к капитану; на щеках у него выступили красные пятна.

— Слышите, слышите? Она сама вам говорит. Актриса Фрелих вас изгоняет. Повинуйтесь! Итак, значит — вперед!

Он схватил капитана, вцепился в него, потащил к двери. Силач не противился этому стремительному натиску. Когда Унрат его выпустил, он отряхнулся. Но это было уже за порогом, и дверь стремительно захлопнулась перед его вздернутыми от изумления бровями.

Актер стукнул кулаком по столу.



— Послушайте, вы... идиот...

— А вы...

Унрат ворча двинулся на него. Киперт струсил.

— Заметьте себе — итак, значит — что артистка Фрелих находится под моим покровительством, и я не расположен допускать, чтобы ей наносили оскорбления и вырывали из моих рук бразды. Повторяйте это себе почаще! Запишите себе это для памяти!

Актер еще что-то пробормотал, но, повидимому, смирился. Немного спустя он потихоньку убрался. Актриса Фрелих взглянула на Унрата и громко расхохоталась. Затем ее смех постепенно затих, стал каким-то ироническим и нежным, словно она размышляла о нем и о себе: почему она гордится тем, кого находит смешным?

Поборов свое недоброжелательство, толстуха положила руку на плечо Унрату.

— Послушайте-ка,— сказала она.

Полуотвернувшись от нее, Унрат, уже успокоенный, вытирал лоб. Его снова обессилила паника тирана, отвечающего на мятеж безрассудным бешенством.

— Вот посмотрите, в дверь выходит Киперт, вот Роза, вот вы, а вот я...

Она говорила с ним чрезвычайно настойчиво, стараясь внушить ему ощущение действительности.

— Кроме того, был тут еще капитан, которого вы выставили. Он приехал из Финляндии и сделал блестящее дело, потому что его судно пошло ко дну,

а оно было застраховано... У вас ведь нет застрахованного судна? Ну, это и не обязательно. Зато у вас имеются душевные достоинства. Только вам придется их проявить, вот что я хочу сказать... Вон там стоит Роза. Понимаете? У капитана есть деньги, он видный мужчина и он девушке нравится.

Унрат растерянно взглянул на актрису Фрелих.

— Неправда, — сказала она.

— Ведь вы же сами это говорили.

— Господи! Ну и лгунья!

— Уж не будете ли вы отрицать и того, что один из учеников господина профессора, такой с черными кудрями, сделал вам предложение по всей форме?

Унрат в бешенстве вскочил. Актриса Фрелих его успокоила.

— Это злостная ложь. Жениться на мне хочет только рыжий, тот, что похож на пьяную луну. Он граф. Но что мне до этого? Он мне не нравится.

И она по-детски улыбнулась Унрату.

— Ладно, пусть я вру, — сказала толстуха. — Но то, что вы должны мне двести семьдесят марок, это уже правда, а, Розочка? Видите ли, господин профессор, я вообще не таковская и скорее откусила бы себе язык, чем сказала об этом в вашем присутствии. Но ведь, в конце концов, своя рубашка ближе к телу, ничего не поделаешь. А за то, что вы всех отсюда выставляете, за это... не сердитесь, господин профессор... вы предлагаете недостаточно. О деньгах я говорить не буду, но такое молодое существо хочет любви и имеет на нее право. А у вас этого что-то и

в помине нет, вы просто не догадываетесь. Не знаю, смешно это или грустно.

Актриса Фрелих крикнула:

— Если я сама молчу, то вам и подавно надо молчать, фрау Киперт.

Но толстуха только отмахнулась. Она вышла, высоко подняв голову, гордая сознанием, что замолвила разумное слово в пользу благоприличия и морали.

Актриса Фрелих пожала плечами.

— Она необразованная, но добрая. Ну, да пусть ее, не подумайте только, что я заодно с ней и просто хочу вас заполучить.

Унрат поднял глаза. Нет, он был далек от такого предположения.

— И вообще я ни с кем не заодно.

Она улыбнулась шутливо и застенчиво.

— Даже и с вами — нет.

И после маленькой паузы:

— Ведь правда?

Ей пришлось повторить этот вопрос несколько раз. Унрат не замечал мостика, перекинутого к нему ее словами. Он чувствовал только, как его обволакивает душными волнами.

— Пусть будет так, — сказал он и протянул к ней дрожащие руки. Она вложила в них свои. Ее маленькие пальчики, слегка грязные и жирные, мягко скользнули в его костяшки. Ее волосы, искусственные цветы, ее пестрое лицо мелькали перед его глазами, как красочное колесо. Но он поборол свое волнение.

— Вам не следует одождать у этой женщины. Я решил...

Он проглотил слюну. Ему пришла в голову ужасная мысль: ученик Ломан мог опередить его в этом решении, ученик Ломан, отсутствовавший в классе и, возможно, спрятавшийся в ее комнате.

— Я хочу — поистине право — оплатить вашу квартиру.

— Об этом сейчас не стоит говорить, — тихо возразила она. — Об этом после. Да моя комната недорого и стоит.

И запинаясь:

— Она тут наверху... очень хорошенькая... хотите посмотреть?

Ее веки были опущены, вид у нее был очень смущенный, как и полагается в момент признания в любви со стороны серьезного человека. И она удивилась, что не чувствует желания смеяться и что ее сердце бьется сильнее от некоторого торжественного волнения.

Подняв странно потемневший взор, она сказала:

— Идите вперед. Я не хочу, чтобы эти обезьяны в зале нас видели.

## X

Кизелак открыл дверь в зал, сунул в рот свою синюю лапу и глухо свистнул. Немедленно появились Эрцум и Ломан.

— Ну, дружище, торопись! — крикнул Кизелак каждому в отдельности и, поощряюще жестикулируя и пятясь, затанцовал по направлению к лестнице.

— Наконец-то!

— Что, наконец-то?— равнодушно спросил Ломан, хотя отлично знал, в чем дело, и был сильно заинтересован.

— Они уже наверху,— шепнул Кизелак, сделав страшную гримасу. Он снял башмаки и стал подниматься по деревянной покатоj лестнице с желтыми перилами. Она скрипела. Дверь была на первой же, нижней площадке. Кизелак знал ее. Он нагнулся к замочной скважине. Через несколько мгновений он, не отрываясь от скважины, молча и страстно закивал головой.

Ломан пожал плечами и остался внизу, рядом с Эрцумом, который, разинув рот, смотрел вверх.

— Ну, как ты себя чувствуешь?— спросил он понимающим тоном.

— Клянись тебе, что я больше ничего не понимаю,— сказал фон Эрцум.— Ведь не думаешь же ты, что там что-нибудь случилось? Кизелак, конечно, дурака валяет.

— Конечно,— сострадательно подтвердил Ломан.

Кизелак кивал все яростнее. Он беззвучно хихикал в замочную скважину.

— Должна же она понимать,— заметил Эрцум,— что я могу убить этого человека.

— Опять?.. Впрочем, это ее, возможно, только больше подзадоривает.

Этого фон Эрцум не понимал. Его представление о любви сложилось раз навсегда под впечатлением эпизода со скотницей, три года назад опрокинувшей его в сено после того, как он вышел победителем из

схватки с сильным конюхом. А здесь был всего лишь дохляк со вздернутым плечом; и ведь не думает же Роза Фрелих, что Эрцум его боится?

— Ведь не думает же она, что я его боюсь?— спросил он Ломана.

— А разве не боишься?

— Вот увидишь.

И взволнованный Эрцум двумя прыжками перескочил через шесть ступенек.

Оторвавшись от замочной скважины, Кизелак отплясывал на цыпочках победный танец. Вдруг он остановился:

— О, дружище!— шепнул он, и его глаза сверкнули на землистом лице. Эрцум пыхтел и был красен, как огонь. Их встретившиеся взгляды мерили друг друга, боролись; глаза Эрцума требовали: это неправда. В ответ Кизелак насмешливо прищурил слегка вздрагивающее веко... И вдруг лицо Эрцума покрылось такой же бледностью, как лицо Кизелака; он согнулся, словно получил удар в живот, и застонал от боли. Шатаясь, спустился он вниз по шести ступенькам. Ломан встретил его со скрещенными на груди руками и мрачными складками вокруг рта. Как мешок, опустился Эрцум на последнюю ступеньку и обхватил голову руками. Немного помолчав, глухо:

— Ломан, ты можешь это понять? Женщина, которую я ставил так высоко! Я все еще думаю, что сволоочь Кизелак валяет дурака. Если так, то да поможет ему бог! Женщина, у которой так много, так много души!

— В том, что она сейчас делает, душа не принимает никакого участия. Чисто женская черта.

Ломан злобно усмехнулся. Этими словами он повергал в грязь Дору Бретпот, ставил ее рядом с той, другой... Дору Бретпот, первую из женщин!

— А Кизелак уже опять у замочной скважины.

Ломан держал Эрцума, сидевшего отвернувшись, в курсе дела.

— Что-то Кизелак уж слишком оживленно кивает... Ну, и Унрат!.. Может быть, пойдём, Эрцум?

Он помог товарищу подняться и потащил его к выходу. Выйдя на улицу, Эрцум не захотел двинуться с места; тяжело и бессильно прислонился он к обители своих разочарований. Ломан тщетно его уговаривал, даже грозил уйти один. Вдруг появился Кизелак.

— Вы тоже порядочные ослы! Почему вы не входите? Унрат с новобрачной уже там. Я сообщил в зале, откуда они явились, там их встретили страшным шумом. Потеха на редкость! Они сидят в курятнике и нежничают. Я чуть не помер со смеха! Идемте-ка в курятник, все втроем!

— Да ты видно... — сказал Ломан.

Но Кизелак предложил это вполне серьезно.

— Надеюсь, вы не боитесь Унрата? — возмущенно осведомился он. — Он сам так влип, что ничего не в состоянии нам сделать. Теперь мы сможем над ним потешиться.

— Это меня не привлекает. Унрат не стоит и этого, — заявил Ломан.

Кизелак отчаянно умолял.

— Не будь жабой. Ты просто трусишь.

Эрцум внезапно решил:

— Валяй! В курятник!

Его обуюло бешеное любопытство. Он захотел встретиться лицом к лицу с этой женщиной, рухнувшей с такой высоты! Он захотел смерить ее и ее подлого соблазнителя высокомерным взглядом и посмотреть, выдержит ли она этот взгляд.

Ломан сказал:

— У вас дурной вкус.

Но пошел с ними.

В артистической их встретил звон бокалов. Хозяин заведения откупоривал вторую бутылку секта. Супруги Киперт наклонялись с сияющими лицами к Унрату и актрисе Фрелих, которые, в тесном единении, торжественно восседали за столом.

Школьники обошли сначала вокруг стола, потом выстроились перед Унратом и его дамой и пожелали доброго вечера. Им ответили только супруги Киперт. Они обменялись рукопожатиями. Эрцум хрипло повторил свое приветствие. Роза Фрелих удивленно подняла глаза и новым для него, чирикающим, воркующим голоском непринужденно сказала:

— Ах, вот и вы. Посмотри, дорогой, это они. Присаживайтесь и выпьем.

Это было все. Она умолкла, и ее взгляд скользнул мимо с таким равнодушием, что Эрцум весь задрожал.



Унрат милостиво поднял руку.

— Конечно, значит — садитесь и выпейте. Сегодня вы мои гости.

Он покосился на Ломана, который уже сел и свертывал себе папиросу... Ломан, этот самый отъявленный из всех, чей изящный вид был оскорблением для скудно оплачиваемого учителя; Ломан, имевший наглость не называть Унрата его именем; Ломан, который не был ни безответным, покорным учеником, ни дурачком, и который своими независимыми манерами и сострадательным любопытством к гневу учителя выражал с о м н е н и е в тиране:— ко всем посторонним занятиям, которым он предавался, он пытался присоединить еще и артистку Фрелих. Но здесь он потерпел крушение, столкнувшись с железной волей Унрата. Ломан не будет сидеть в курятнике артистки Фрелих: Унрат в этом поклялся. Ломан не должен был сблизиться с артисткой Фрелих: этого не случилось. Но мало того, что Ломан не сидел в курятнике артистки Фрелих, там сидел Унрат... Это достижение не входило в первоначальные расчеты Унрата. Он дивился; и внезапно почувствовал пламенное удовлетворение. Он отнял артистку Фрелих у Ломана и его двух товарищей, у строптивых учеников, сидевших там в зале, у города, в котором было десять тысяч строптивых учеников. Он один царствовал в курятнике!

Школьники нашли его решительно помолодевшим. Со съехавшим за ухо галстуком, с незастегнутыми кое-где пуговицами и всклокоченными остатками шевелюры, он производил впечатление человека, сбив-

шегоса с толку, жалкого в своем торжестве, нелепого в своем опьянении.

Прильнувшая к нему Роза Фрелих казалась разнеженной, ребячливой, утомленно-ласковой. Ее вид был оскорблением для всякого непричастного мужчины: это был решительный триумф Унрата.

Все трое это прекрасно видели. Кизелак даже начал грызть ногти. Киперт, которому не все тут было ясно, заглушал свою досаду тем, что шумно со всеми выпивал. Толстуха непрерывно восхищалась счастливым переменой в Розе и праздником всеобщего примирения.

— И ваши ученики, господин профессор, радуются вместе с вами. Просто изумительно, как молодые люди к вам привязаны!

— Именно, именно, — сказал Унрат. — Кажется, они действительно не вполне лишены понимания прекрасного и возвышенного.

И он иронически усмехнулся.

— А, Кизелак — конечно значит — тоже здесь? Меня только удивляет, что бдительность вашей бабушки не помешала вам выйти из дома... Дело в том, что у этого ученика имеется бабушка, которая его бьет, — сказал он актрисе Фрелих с намерением задеть Кизелака в его мужском достоинстве.

Но Кизелаку было отлично известно, что не мужское достоинство позволило ему в свое время достичь «цели класса» у актрисы Фрелих. Он потер зад и, косясь на кончик своего носа, захныкал:

— Бабушка побьет меня, если я не найду свою

тетрадку. Вероятно я уронил ее под стол, здесь в курятнике.

И совершенно неожиданно скользнув под стол, он схватил актрису Фрелих за ноги и под шум, поднятый супругами Киперт, шепнул ей свои требования: в противном случае он обо всем расскажет Унрату.

— Сопляк!— сказала она только и оттолкнула его ногой.

Меж тем Унрат обратился ко второму школьнику.

— Итак, фон Эрцум — конечно значит — выражение вашего лица заставляет предполагать, что вы столь же туго соображаете здесь, как и в классе. Не вы ли — итак, внимание — осмелились сделать предложение артистке Фрелих? По тому, как бессмысленно вы тарашите глаза, я уже вижу, какой вы получили ответ. Артистка Фрелих поставила вас на место, приличествующее школьнику. Мне нечего к этому присовокупить. Встаньте!..

Эрцум послушно встал. Роза смеялась, и ее смех лишал его последних сил для возмущения и остатков сознания собственного достоинства; он парализовал его.

— ...и мы проверим, не привели ли ваши частые посещения «Голубого ангела» к тому, что вы, наихудший из учеников, не только не выполняете требований, предъявляемых к вам школой, но даже с легкой совестью ими пренебрегаете. Скажите заданные на завтра псалмы.

Широко раскрытые глаза Эрцума блуждали по комнате. Его лоб покрылся испариной. Вновь ощутив на себе ярмо школы, он опустил голову и начал:

Как не воспевать мне бога?  
Как не ликовать пред ним?  
Вижу по всему, сколь много  
Богом я своим любим.

Тут Роза начала взвизгивать. Фрау Киперт тоже закудаhtала добродушно. Роза же визжала с намерением обидеть Эрцума, визжала сладенько, из нежности к Унрату, рука которого ее обнимала; визжала, чтобы ему польстить и вознаградить его за его власть над рыжим, коренастым человеком, неуклюже и покорно бубнившим псалмы.

Фон Эрцум продолжал:

Только чистою любовью  
Верный дух его храним...

Но вдруг поведение актера вывело его из себя. Киперт только теперь начал понимать, что происходит. Он ударил себя по колену и захохотал Эрцуму прямо в лицо.

— Ах, вы... вы! Что это вы там плетете? Дурно вам, что ли?

И он подмигнул Унрату, давая понять, что знает цену этому графу, бормочущему церковные песнопения в задней комнате «Голубого ангела» и решительно присоединяется к издевательствам над религией и знатью. Он приоткрыл дверь и сделал вид, что заказывает таперу хорал. И затем сам его затянул... Но Эрцум уже замолчал.

Правда, дальше он и не выучил. Но независимо от этого в нем вдруг поднялась безудержная ярость против этого толстого, хохочущего, распевающего чело-

века. Все помутилось перед его глазами. Ему казалось, что он умрет, если не ринется на него обоими кулаками, не сдавит ему грудь обоими коленями. Он несколько раз дернулся с места; он поднял над головой сжатые кулаки... Он бросился на актера.

Атлет задышался от смеха и не ждал нападения; это дало преимущество нападавшему всерьез Эрцуму, который только тогда и расцветал, когда ему удавалось утолить голод своих мускулов. Они катались по комнате из угла в угол. Среди грохота Эрцум уловил возглас Розы. Он знал, что она на него смотрит; это заставляло его сильнее дышать, крепче сжимать руками и ногами тело противника, чувствовать себя освобожденным от гнета, на своем настоящем месте: он боролся на ее глазах, как тогда с деревенским парнем за скотницу.

А между тем Унрат, едва удостоивший борьбу мимолетным взглядом, обратился к Ломану:

— Но что такое с вами, Ломан? Вот вы сидите и курите — поистине право — папиросу, а в классе вас сегодня не было.

— Я не был расположен, господин профессор.

— Вот как? Но к посещению «Голубого ангела» вы — э-пять-таки значит — всегда расположены?

— Это совсем другое дело, господин профессор. Сегодня утром у меня была мигрень. Врач запретил мне умственное напряжение и предписал рассеяться.

— Так. Но как бы там ни было...

Унрат несколько раз потянул носом. Наконец, придумал.

— Вы сидите здесь и курите, — повторил он. — Но

разве это приличествует ученику в присутствии учителя?

И видя, что Ломан сидит неподвижно, с усталым любопытством поглядывая на него из-под полуопущенных век, Унрат вскипел:

— Бросьте папиросу!— глухо крикнул он.

Ломан не шевельнулся. В это время Киперт и Эрцум налетели на стол; Унрату пришлось спасать себя, актрису Фрелих и множество стаканов и бутылок. Справившись с этим, он крикнул:

— Немедленно бросьте папиросу!

— Папироса,— заметил Ломан,— атрибут всей ситуации. Ситуация необычна... для нас обоих, господин профессор.

Унрат, испуганный сопротивлением, весь дрожал.

— Бросить папиросу, говорю я!

— Увы!— ответил Ломан.

— Вы осмеливаетесь!.. Мальчишка!..

Ломан сделал своей тонкой рукой благородно отстраняющий жест.

Охваченный безумным ужасом, точно тиран, видящий себя в опасности, Унрат вскочил со стула.

— Вы ее бросите или я погублю вашу карьеру! Я раздавлю вас! Я не расположен...

Ломан пожал плечами.

— Весьма печально, господин профессор. Все это дело прошлое. Как это вы не понимаете положения?

Унрат задыхался. У него были глаза взбешенной кошки; на вытянутой вперед шее вздулись жилы, на губах появилась пена, указательный палец с желтым ногтем протянулся к врагу.

Вырванная из воспоминаний о пережитых наслаждениях, еще далекая от действительности, актриса Фрелих уцепилась за Унрата и дико накинулась на Ломана.

— Что вам надо? Лучше успокойте его,— посоветовал тот.

Вдруг Эрцум и Киперт налетели на затрещавшие стулья и с такой силой толкнули обнявшуюся пару в спину, что она стукнулась носом об стол. Из укромного уголка за туалетным столиком Розы Фрелих раздалось звонкое ликование Кизелака. Он беспрепятственно утешался там с фрау Киперт.

Поднявшись, Унрат и его возлюбленная продолжали браниться.

— Вы всегда будете у меня последним! — крикнула она Ломану.

— Я помню, что вы мне это обещали и с нетерпением жду.

И глядя на нее, растрепанную, в полурасстегнутом платье, с расползающимся по лицу гримом, хрипло и разнузданно ругающуюся, он внезапно почувствовал бешеное желание ею обладать. Снова эта жажда оскорбить свою суровую любовь мрачными ласками порока!

Но этот порыв мгновенно прошел.

Охваченный страхом, Унрат догадался пригрозить:

— Если вы немедленно не бросите папиросу, я сейчас же отведу вас к вашему отцу.

В этот вечер у родителей Ломана были гости; среди них консул Бретпот с женой. Ломан представил себе, как Унрат врывается в гостиную... Он тем более

должен был избавить Дору от подобного зрелища, что со вчерашнего вечера знал о ее беременности. Он слышал это от своей матери. Это и было причиной отсутствия Ломана в классе. Подперев голову кулаками, просидел он весь день в запертой комнате, погружившись в слагающиеся в стихи, мучительные мысли об этом ребенке, которого она зачала от асессора Кнуста или лейтенанта Гиршке, а возможно и от консула Бретпюта.

— Следуйте за мной!— крикнул Унрат.— Шести-классник Ломан! Я приказываю вам следовать за мной!

Ломан нетерпеливо выронил папиросу. Унрат удовлетворенно опустил на стул.

— Видите! Конечно значит... Вот как приличествует вести себя ученику, желающему добиться расположения учителя... Вам, Ломан, учитель прощает, потому что вас — именно, именно — ... следует рассматривать как *mente captus*. Ведь вы жертва несчастной любви.

Ломан беспомощно опустил руки. Он смертельно побледнел, и его черные глаза загорелись таким мрачным огнем, что актриса Фрелих восхищенно на него уставилась.

— Или, может быть, это неправда?— ядовито торжествовал Унрат. — Ведь вы сочиняете стихи, не достигая...

— «Цели класса»,— робко dokonчила актриса Фрелих. Она знала это выражение от Кизелака.

Ломан думал: «Негодяй — знает. Сейчас я встану, пойду домой, поднимусь на чердак и направлю ру-



жейное дуло прямо в сердце. А внизу у рояля сидит Дора. Песенка, которую она поет, понесется ввысь, и пыльца с ее крыльев будет мерцать мне до самой смерти...»

Актриса Фрелих спросила:

— Помните, что вы про меня сочинили?

Она спросила это очень мягко, со вздохом. Она хотела от него большего. Собственно говоря, она всегда хотела от него гораздо большего, вспомнила она теперь и сочла его жестоким и глупым.

— «И в интересном положении...» Ну, кто теперь в интересном положении?

И это! Они знали даже это.

Ломан повернулся и пошел к двери, приговоренный к смерти. Когда он взялся за ручку, раздался голос Унрата:

— Конечно значит — вы питаете несчастную любовь к артистке Фрелих, которая не пожелала иметь с вами дела, а посему и не пошла навстречу высказанному вами в этом бесстыдном стихотворении желанию. Вы не сидите в курятнике артистки Фрелих, Ломан! Вы не сблизились с артисткой Фрелих, Ломан! Вы можете теперь вернуться к своим пенатам, Ломан!

Ломан мгновенно повернулся.

— И это все?

— Да! — подтвердила Роза. — Все правильно. Каждое слово в точку.

Старое чучело таяло от старческого тщеславия. А другое существо — просто неаппетитная девчонка, вот и все. Оба абсолютно безвредны, оба ничего не

знают. Трагизм только что пережитых минут! Ломан не имел на них права, это была ошибка! Он не пойдет стреляться. Он чувствовал себя обманутым, почти смешным, снова униженным комедией вещей, снова свергнутым в жизнь — и в этот курятник!

— Ну, фон Эрцум,— сказал Унрат,— теперь ваша очередь очистить поле действия. А за то, что вы осмелились затеять в присутствии учителя драку, вы шесть раз перепишете псалмы, которых вы не знали.

Эрцум стоял неподвижно, отрезвев, согнувшись под тяжестью открытия, что только что испытанная им мускульная радость была самообманом, что победа над атлетом ничего ему не принесла и что здесь один только победитель: Унрат. Полными ужаса глазами смотрел он в равнодушное лицо актрисы Фрелих.

— Прочь отсюда!— крикнул Унрат.

Кизелак хотел последовать за товарищем.

— Куда? Без разрешения учителя? Вы выучите наизусть сорок стихов Виргилия.

— Почему?— возмущенно спросил Кизелак.

— Потому что так желает учитель.

Кизелак бросил на него взгляд исподлобья и потерял всякую охоту вступать с ним в пререкания. Он тихо вышел.

Его товарищи уже были довольно далеко.

Чувствуя потребность презирать и осуждать Розу совместно с ее любовником, Эрцум сказал:

— Девчонка, видно, окончательно погибла. Я уже начинаю привыкать к этой мысли. Уверяю тебя, Ло-

ман, это меня не убьет... Но что ты скажешь об Унрате? Видел ты подобное бесстыдство?

Ломан горько улыбнулся. Он понял: побежденный Эрцум, жалуясь, искал спасения в косной морали, неизменном убежище всех побежденных. Ломан же отвергал ее, несмотря на то, что и ему сегодня пришлось плохо.

Он сказал:

— С нашей стороны было глупо идти туда и воображать, что нам удастся его смутить. Надо было учесть, что он уж слишком далеко зашел. Ведь он давно видит в нас соучастников, мы не раз сталкивались с ним здесь носом к носу. Он даже растаскивал нас по домам, чтобы мы не стали ему поперек дороги у актрисы Фрелих! Неужели он не считает возможным, чтобы кто-нибудь другой встал ему поперек дороги?

Раненный этими словами, Эрцум застонал.

— Было бы вредно поддерживать в тебе иллюзии на этот счет, Эрцум. Будь мужчиной!

Эрцум срывающимся голосом заверил, что Роза ему безразлична, что он не интересуется, чиста она или нет. Его нравственное чувство возмущается только Унратом.

— А мое нет, — признался Ломан. — Этот Унрат начинает меня интересовать, в сущности, это прелюбопытный феномен. Подумай, при каких обстоятельствах он действует, кого только ни восстанавливает против себя. Для этого необходима огромная самоуверенность; мне кажется, меня бы на это не хватило. Нужно быть немного анархистом...

Для несложного Эрцума все это было слишком сложно. Он что-то пробормотал.

— Что?— спросил Ломан.— Ну да, сцена в курятнике была отвратительна. Но в ней было что-то отвратительно-величественное. Или, если тебе так больше нравится, что-то величественно-отвратительное. Но величие в ней было.

Эрцум не выдержал.

— Ломан, неужели она действительно не была чиста?

— Ну, теперь она во всяком случае покрыта Унратом. Это дает тебе возможность лучше разобраться в ее прошлом.

— Я считал ее чистой. И вообще, я точно во сне. Ты будешь смеяться, Ломан, но у меня такое состояние, что я могу застрелиться.

— Что ж, посмеюсь, пожалуй!

— Как это пережить? Неужели с кем-нибудь случилось подобное? Ведь она стояла в моих глазах так недостижимо высоко! Если хорошенько подумать, я, собственно, никогда и не надеялся добиться ее. Ты помнишь, как я был возбужден, когда разрыл курган? Это не было фанфаронством, я скажу себе совершенно откровенно, это был просто страх перед ее решением. Видит бог, я был бы чрезвычайно удивлен, если бы она согласилась бежать со мной... Как мог я вообразить себе это? Ведь для меня у нее было слишком много души... и когда жребий был брошен...

Ломан рассматривал его сбоку. Чтобы заговорить о брошенных жребиях, Эрцум должен был прийти до неслыханного состояния.

— ...могу сказать, я был тогда конченным человеком. Но в сравнении с сегодняшним, это было просто благодеянием. Понимаешь ли ты, Ломан, как низко она теперь пала?

— До Унрата.

— Подумай только! Ведь это совсем не ее место. Или она самая последняя женщина!?

Ломан молчал. Эрцуму было явно необходимо, чтобы Роза Фрелих стояла на недосыгаемом пьедестале. Повидимому, это устраивало его. Он старался убедить свое более глупое «я», что никогда по-настоящему не надеялся обладать ею. Этим самообманом он хотел внушить себе, что тем меньше шансов у Унрата добраться до нее из своего болота. Жизненный опыт, воплощенный для него в образе скотницы, отступил на задний план, из-за рыжего дворянина глянул отрешенный от действительности мечтатель; ибо это было выгоднее для самолюбия Эрцума... «Таков человек», подумал Ломан.

— Но когда я спрашиваю себя — почему, — про-должал Эрцум, — я поистине не нахожу никакого объяснения. Ведь я предлагал ей все, что может предложить человек. На ее любовь я, честно говоря, вряд ли мог надеяться. Ведь она обращалась со мной не лучше, чем с тобой! Почему ей любить именно меня!.. Но Унрат? Верить ты этому? Унрат!

— Женщины непостижимы! — сказал Ломан и погрузился в свои мысли.

— Я не могу этому поверить. Я думаю, что он увлек ее лживыми обещаниями. Он еще сделает ее несчастной.

И Эрцум подумал:

— Может быть... тогда...

В это время их догнал Кизелак, давно уже краившийся за ними. Он пронзительно крикнул:

— Чорт побери! Унрат раскошелился на десять марок, я видел через замочную скважину.

— Лжешь... свинья! — заревел Эрцум и бросился на него.

Но Кизелак это предвидел и мгновенно исчез.

## XI

Кизелак солгал. Унрат был далек от мысли предложить актрисе Фрелих денег; не из деликатности и не из жадности; просто, — и она это поняла, — он не догадался. Ей много раз пришлось ему намекать, прежде чем он вспомнил о квартире, которую хотел ей снять. Когда он заговорил о том, чтобы устроить ее в меблированные комнаты, она потеряла терпение и лаконически потребовала собственную квартиру. Унрат был глубоко поражен.

— Так как ты имеешь обыкновение жить вместе с четой Кипертов...

Его ум был склонен к консерватизму, и такой решительный переворот надо было хорошенько обмозговать. Мысль его напряженно заработала.

— Но если — итак, внимание — чета Кипертов покинет город?

— А вдруг мне не захочется ехать с ними? — возразила она. — Что я тогда буду делать?

Он беспомощно молчал.

— Ну? Унратик, ну?

Приплясывая вокруг него, она торжествующе выпалила:

— Тогда я останусь здесь.

Его лицо просияло. До такой новости он никогда бы не додумался. «Тогда ты останешься здесь»,— несколько раз повторил он, чтобы привыкнуть к этой мысли.

— Это, конечно, очень хорошо,— благодарно сказал он. Он был счастлив, и все же через несколько дней ей пришлось снова пустить в ход все свое искусство подсказыванья, чтобы он понял, что она не хочет больше столоваться в «Голубом ангеле» и что он должен оплатить ее стол в каком-нибудь хорошем отеле.

Наконец, он сообразил и даже захотел столоваться вместе с ней. Но это она отклонила, и он был очень разочарован. Зато она разрешила ему оплачивать в «Шведском дворе» не только ее стол, но и комнату, пока будет готова ее собственная квартира.

С мальчишеским пылом хватался Унрат за всякую возможность как можно дальше увести ее от окружающей обстановки, крепче привязать к себе, противопоставить артистку Фрелих всему миру. Все дело было только в том, чтобы найти эту возможность. Он торопил обойщика: ведь дело касалось артистки Фрелих! Он грозил мебельщику недовольством артистки Фрелих, напоминал в бельевом и посудном магазинах об изысканном вкусе артистки Фрелих! Город принадлежал артистке Фрелих; Унрат брал для нее повсюду то, что ей подобало, повсюду называл ее

ния, не обращая внимания на осуждающие взгляды. Неизменно нагруженный пакетами, он вечно был в бегах: то к ней, то от нее,—вечно занят неотложными делами, представляющими огромную важность для артистки Фрелих, которые спешно надо было с ней обдумать и обсудить. От этой лихорадочной и радостной деятельности у него на щеках выступили красные пятна. Он хорошо спал по ночам, и дни его были заполнены.

Единственным его огорчением было то, что она никуда с ним не выходила. Ему хотелось поводить ее по городу, показать ей ее царство, представить ее ее подданным, защищать ее от бунтовщиков. Теперь уж он не боялся восстаний, он желал их. Но она всегда отказывалась: либо она устала, либо у нее была репетиция, либо толстуха ее расстроила. Однажды Унрат по этому поводу набросился на толстуху; выяснилось, что она в этот день и не видела актрисы Фрелих. Он ничего не понимал. Толстуха многозначительно улыбалась. Растерянно вернулся он к артистке Фрелих, и ей снова пришлось его успокаивать.

Настоящая причина ее отказов была очень проста: она считала преждевременным показываться с Унратом. Если бы она стала появляться с ним открыто, Унрата — она это предвидела — постарались бы восстановить против нее. Еще не уверенная в силе своего влияния на него, она боялась того, что он может о ней услышать. Она не считала себя непорядочной, но ведь в прошлом за каждым водятся какие-нибудь пустяки... в сущности, о них не стоит даже говорить,



но мужчине с серьезными намерениями их незачем знать. Если бы мужчины были разумнее, насколько все это было бы легче! Она взяла бы своего маленького Унрата за подбородок и просто рассказала: как-то и так-то, — но теперь приходится хитрить. И хуже всего, что у него могут возникнуть по этому поводу разные нелепые мысли, и он еще вообразит, что она остается одна дома, чтобы развлекаться без него. А это, видит бог, неверно. Этим она сыта по горло и рада немного отдохнуть со своим смешным стареньким Унратом, уделяющим ей столько внимания, как еще никто в жизни, и к тому же — она иногда подолгу задумчиво на него смотрела — действительно шикарным малым.

Но Унрат был далек от подозрений, которых она опасалась; они не приходили ему в голову.

Кроме того, с ним она спокойно могла бы пренебречь людской болтовней. Он был сильнее, чем она думала. Иногда к нему подступала тревога, которую он преодолевал, не говоря актрисе Фрелих ни слова. Большей частью это случалось в школе.

Благодаря Кизелаку частная жизнь Унрата была здесь всем известна. Некоторые молодые учителя, еще не решившие, какой образ мысли больше благоприятствует их карьере, избегали его, чтобы не кланяться. Молодой учитель Рихтер, обративший свой взор на девушку из богатой семьи, куда обычно учителя не имели доступа, кланялся ему с насмешливой улыбкой. Другие же решительно воздерживались от всякого общения с ним. Один из преподавателей говорил в классе Унрата о «нравственном унрате,

вернее, «грязи», которой ученики должны остерегаться. Это был тот самый учитель, который в свое время неблагоприятно отзывался о сыне Унрата и его моральных прегрешениях; и тоже перед классом его отца.

Когда Унрат появлялся во дворе школы, школьники ревели:

— О...о...о! Здесь воняет нравственным унратом, — а надзирающий за учениками классный наставник с отвращением отворачивался, делая вид, что ничего не замечает.

Старый учитель приближался, и под его косым, ядовитым взглядом шум постепенно затихал. Тогда перед ним вырастал Кизелак; глядя исподлобья, он медленно и выразительно говорил:

— Вернее, грязью.

Вздвигнув, Унрат шел дальше. Он не мог «уличить» Кизелака.

Теперь он уже ни в чем не мог уличить его; никогда, — он это чувствовал — не сможет он «словить» его так же, как и Ломана и фон Эрцума. Он и эти три ученика терпели друг друга как бы по взаимному соглашению. Поэтому Унрат ничего не мог поделать, когда Ломан не принимал никакого участия в занятиях и на вызов учителя отвечал театральным тоном, что он занят. Унрат мало что мог поделать и с фон Эрцумом, когда тот, раздраженный бесплодным корпением над экстемпорале, вырывал у соседа тетрадь и списывал оттуда. Унрат должен был молчать, когда Кизелак сбивал всех вызванных учеников, подсаживая им бессмыслицу, когда он громко разговари-

вал, разгуливал по классу без всякого повода и даже затевал на уроках драки.

Но стоило Унрату, поддавшись паническому страху дрожащего за свою власть тирана, отправить бунтовщиков в курятник, как начиналось нечто невообразимое. В класс доносилось хлопанье откупориваемых бутылок, бульканье льющегося из горлышка вина, громкие тосты, подозрительное хихикание, звонкие поцелуи... Сломая голову несся Унрат к двери в курятник и снова впускал Кизелака. Двое других входили сами, непрошенные, с презрительными и угрожающими лицами...

В этот момент Унрат, несомненно, испытывал большую досаду. Но что из того! Ведь, в конце концов, побежденными были они, их отстранили от актрисы Фрелих. Не Ломан сидел в курятнике актрисы Фрелих.

Выйдя за ворота школьного двора, Унрат стряхивал с себя дурное настроение и уносился мыслями к серой юбке актрисы Фрелих, которую он должен взять из прачечной, и к конфетам, которыми он собирался ее порадовать.

Директору гимназии пришлось обратить внимание на положение дел в шестом классе. Он пригласил Унрата в свой кабинет и поставил ему на вид нравственное разложение, явно грозящее его классу. Он не хочет заниматься расследованием, откуда появилась эта зараза. Коснись дело более молодого классного наставника, он, конечно, тщательно расследовал бы его. Но господин коллега с честью посидел на своей работе и может сам во всем разобраться и не забывать

о том, что он должен служить примером своему классу.

Унрат сказал:

— Господин директор, афинянин Перикл — поистине право — имел возлюбленной Аспазию.

— Это к данному случаю не подходит, — ответил директор.

И Унрат:

— Я бы считал свою жизнь за ничто — именно, именно — если бы знакомил своих учеников с классическими идеалами только как с досужими сказками. Человек, получивший классическое образование, вправе отказаться от предрассудков низших слоев общества.

Директор растерялся. Отпустив Унрата, он долго размышлял и, в конце концов, решил никому ничего не рассказывать из опасения, что профаны могут это истолковать в невыгодном для гимназии и учительской коллегии смысле.

Свою экономку — она возмущалась визитами актрисы Фрелих — Унрат с торжествующим спокойствием, о которое бессильно разбилось ее бешенство, выставил из дома. Ее место заняла служанка «Голубого ангела». Она была похожа на швабру и принимала в своей комнате мальчика из мясной, трубочиста, ламповщика и всю улицу.

Портниха с желтым лицом, которую он часто посещал по поручению актрисы Фрелих, всегда держалась с ним холодно и сдержанно. Но однажды, после того, как он оплатил большой заказ, она решилась заговорить. Пусть господин профессор прислушается

к тому, что говорят люди. Разве это не позор? В его годы... да и вообще. Унрат положил сдачу в кошелек и молча пошел к выходу. В дверях он обернулся, улыбнулся и снисходительно сказал:

— Момент, выбранный вами, голубушка, указывает на ваши опасения, как бы излишняя откровенность не повредила вам в денежном смысле. Не бойтесь ничего! Вы можете и дальше работать на артистку Фрелих.

И он удалился.

Наконец, в одно воскресное утро, когда Унрат писал на обороте страницы из своих «партикулов Гомера» черновик письма к актрисе Фрелих, раздался стук, и в комнату, в черном, неуклюже сшитом сюртуке и высокой шляпе, вошел мастер Риндфлейш. Выпятив живот, он расшаркался и смущенно сказал:

— Господин профессор, доброе утро, господин профессор, разрешите задать вам один вопрос.

— Валяйте, мастер!— сказал Унрат.

— Я долго размышлял, и мне это очень тяжело... Но так как этого хочет господь...

— Итак, значит, вперед!

— Особенно потому, что я вообще не могу поверить этому о господине профессоре. Люди много болтают о господине профессоре, господину профессору, конечно, это лучше всех известно. Но христианин не должен этому верить. Нет... конечно, нет!

— Если так,— сказал Унрат и кивнул, заканчивая разговор,— то все в порядке.

Риндфлейш вертел в руках цилиндр и смотрел в пол,

— Да. Но господь хочет, чтобы я напомнил господину профессору, что он этого не хочет.

— Чего не хочет?— спросил Унрат и усмехнулся. — Артистку Фрелих?

Сапожник пыхтел под тяжестью своей миссии. Его обвислые щеки и борода тряслись.

— Ведь я вас уже посвятил, господин профессор,— голос сапожника стал таинственно-проникновенным,— что господь разрешает это только для того...

— Чтобы иметь побольше ангелов. Правильно, мастер. Я посмотрю, что тут можно будет сделать.

И, продолжая лукаво улыбаться, он выставил гернгутера за дверь.

Безмятежно жил Унрат на своей головокружительной вершине, как вдруг грянули страшные события.

Полевой сторож сообщил по инстанции, что в лесу кто-то злонамеренно повредил курган гуннов. В воскресенье, в которое, по его соображениям, было совершено злодеяние, он встретил на проселочной дороге компанию молодых людей. После продолжительного и тщетного расследования прокуратуры в понедельник утром в актовом зале гимназии вместе с директором появился полевой сторож. Во все время молебна, пока директор зачитывал отрывок из библии и школьники пели церковные гимны,— человек из народа обзрел присутствующих с возвышения для начальствующих лиц. Он непрерывно вытирал лоб тыльной стороной руки, и ему было явно не по себе. В конце концов, ему пришлось еще спуститься

вниз и обойти в сопровождении директора все ряды. При этом он держался как человек, попавший в слишком высокопоставленное общество, ни на кого не смотрел и поклонился Эрцуму, наступившему ему на ногу.

Когда надежда найти преступников в гимназии казалась потерянной, директор решился на крайнее средство. Прочтя собравшимся специальную главу из библии, он выразил уверенность, что прочитанное тронет и заставит раскаяться хотя бы одного из виновных; угрызения совести приведут его в кабинет директора, где он выдаст своих соучастников и предаст их в руки правосудия. За это он будет не только избавлен от наказания, но и вознагражден денежным подарком... На этом молебен закончился.

И уже через три дня, на уроке о Тите Ливии, когда одичавший класс шумел и занимался посторонними делами, Унрат внезапно подскочил на кафедре и закричал:

— Луман, ваше чтение вы скоро сможете продолжать в другом месте. Кизелак, вы достаточно били здесь баклуши. А вам, фон Эрцум, в ближайшем будущем — именно, именно — опять можно будет возить ваш навоз. Будучи далек от мысли изгнать вас, трех негодяев, в курятник, который является слишком благородным местом для подобной испорченности, я лучше употреблю все усилия для того, чтобы ваша жизненная карьера закончилась во вполне заслуженном вами обществе презренных воров и грабителей. Скоро вы уже не будете членами порядочного общест-

ва, дни, которые вам осталось провести среди нас, — сочтены.

Поднявшись и нахмутив лоб, Ломан потребовал объяснения; но глухой голос Унрата был полон такой удовлетворенной ненависти, выражение его лица было таким зловеще-торжествующим, что все трое почувствовали себя сраженными. Снисходительно пожав плечами, Ломан сел.

Во время следующей перемены его вместе с Кизе-лаком и фон Эрцумом позвали к директору. Вернувшись, они с деланным равнодушием рассказали, что их вызывали по поводу дурацкого кургана. Но вокруг них мгновенно образовалась пустота. Кизелак прошептал:

— Эх, друзья, и кто это мог на нас донести? \*

Переглянувшись, Ломан и Эрцум с отвращением повернулись к нему спиной.

Однажды утром всех троих освободили от занятий и в сопровождении следственной комиссии отвезли в лес, к кургану, на место их преступления. Здесь их опознал полевой сторож. Расследование обстоятельств дела подарило им еще несколько свободных от школы дней. Наконец, они предстали в качестве подсудимых в зале суда. Со свидетельской скамьи их встретила ядовитая усмешка Унрата.

В зале присутствовали консул Бретпот и консул Ломан; тозариц прокурора не преминул отвесить поклон этим влиятельным особам. Он был в отчаянии от глупости молодого Ломана и его друга; почему они не сообщили о себе раньше? Обвинение, конечно, постаралось бы избежать огласки. Оно, несомненно,



думало, что в деле замешаны только мальчишки вроде этого Кизелака.

Приступая к разбору дела, председатель обратился к трем подсудимым с вопросом, признают ли они себя виновными. Кизелак немедленно стал запыраться. Но ведь он во всем признался директору и подтвердил это на предварительном следствии! Вышел директор и под присягой подробно повторил все, что показал Кизелак.

— Господин директор лжет!— заявил Кизелак.

— Но ведь господин директор присягнул.

— Подумаешь! — кривлялся Кизелак. — Значит, он лжет вдвойне.

Кизелак закусил удила. Ведь все равно его вышвырнут вон! Он был озлоблен, в нем была поколеблена вера в человека: вместо обещанной награды его предали суду.

Ломан и граф Эрцум признали себя виновными.

— Я этого не делал!— пищал Кизелак.

— А мы сделали, — сказал Ломан, который теперь стыдился этой дружбы.

— Pardon, — заметил Эрцум. — Я это сделал один.

— Позвольте, — и лицо Ломана приняло выражение суровой усталости. — Я со всей решительностью настаиваю на своем участии в порче общественного имущества, или как это там называется.

Фон Эрцум:

— Курган разрушил я один. Это правда.

— Дорогой мой, брось чепуху молоть!— попросил Ломан.

А тот:

— Я один... ведь ты был далеко. Ты сидел с...

— С кем?— спросил председатель.

— Ни с кем!— и фон Эрцум весь вспыхнул.

— С Кизелаком, вероятно,— сказал Ломан.

Товарищ прокурора считал целесообразным распределить вину между возможно большим количеством соучастников, чтобы ее приходилось меньше на долю сына консула Ломана и питомца консула Бретпота. Поэтому он обратил внимание фон Эрцума на неправдоподобность его утверждения.

— Преступление, которое вы желаете приписать себе одному, не под силу самому сильному человеку.

— Нет, почему же...— возразил Эрцум скромно и гордо.

Председатель потребовал от него и Ломана выдачи соучастников.

— Вероятно вы были в большой веселой компании, — доброжелательно предположил он. — Назовите ее участников, этим вы поможете и нам и себе.

Подсудимые молчали. Защита обратила внимание суда на благородство подобного поведения. За все время предварительного следствия оба молодых человека оставались верны принятому решению никого больше не компрометировать.

То же самое можно было сказать и о Кизелаке, но никто не ставил ему этого в заслугу. Впрочем, он только медлил нанести свой удар.

— Значит с вами больше никого не было?— повторил председатель.

— Нет,— сказал Эрцум.

— Нет, — сказал Ломан.

— Как же, — крикнул Кизелак пискливым дискантом старательного ученика, знающего все «на зубок». — С нами была актриса Фрелих.

И видя, что все насторожились:

— Она-то и хотела, чтобы мы разрыли курган.

— Он лжет, — сказал Эрцум и заскрипел зубами.

— Сплошная ложь, — добавил Ломан.

— Все правда, — уверял Кизелак. — Спросите-ка господина профессора, он знает артистку Фрелих лучше всех!

И он усмехнулся в сторону свидетельской скамьи.

— Разве неправда, господин профессор, что в то воскресенье актриса Фрелих от вас сбежала? Она завтракала с нами у кургана.

Все уставились на Унрата; он казался совершенно убитым, его челюсти тряслись.

— Была эта дама с вами? — удивленно спросил один из судей двух других обвиняемых. В его голосе прозвучало чисто человеческое любопытство. Они пожали плечами. Но Унрат закричал задыхаясь:

— Это ваш конец, негодяй! Считайте себя — именно, именно — погибшим!

— Кто же эта дама? — спросил для проформы товарищ прокурора. В зале не было человека, который не знал бы о ней и Унрате.

— Господин учитель Раат может дать нам необходимые сведения, — сказал председатель.

Унрат сообщил только, что она артистка. Товарищ прокурора возбудил ходатайство о немедленном вызове в суд названной особы, для выяснения, явля-

ется ли она в какой-нибудь мере вдохновительницей означенного преступления и должна ли быть привлечена к ответственности. Суд ходатайство удовлетворил, и за ней был послан курьер.

Тем временем молодой защитник Ломана и фон Эрцума молча наблюдал за душевным состоянием Унрата. Он пришел к заключению, что настало время заставить его высказаться, и обратился к суду с просьбой предложить профессору Раату дать суду общую моральную и умственную характеристику трех подсудимых, его учеников. Суд ходатайство удовлетворил. Товарищ покурора, предвидя неблагоприятные показания о питомце консула Бретпота и сыне консула Ломана, тщетно старался этому помешать.

Как только Унрат подошел к барьеру, в зале раздался смех. Охваченный страхом и волнением, терзаемый болезненной яростью, он обливался потом.

— Не может быть ни малейшего сомнения, — так начал он, — в том, что артистка Фрелих не участвовала ни в этом гнусном преступлении, ни вообще во всей этой возмутительной прогулке.

Его прервали, чтобы привести к присяге. После этого он вновь хотел повторить то же самое. Но председатель еще раз остановил его; от него требуется только отзыв о его трех учениках. Тогда Унрат вдруг завопил, высоко подняв руки и с таким глубоким отчаянием в своем гробовом голосе, как будто его загнали в тупик и нет ему никакого выхода.

— Эти мальчишки отбросы рода человеческого! Посмотрите на них! Так выглядят кандидаты в исправительный дом! Будучи искони непослушными и

строптивыми учениками, они не только сами восставали против власти учителя, но склоняли к этому и других! Благодаря их агитации класс в значительной своей части состоит из мерзавцев! Они приложили все усилия, чтобы путем различных революционных махинаций, попытками преднамеренного обмана и всевозможными другими гнусными способами заслужить будущность, которая — поистине верно — открывается им с этой скамьи. Я давно предвидел, что они попадут на нее!

И с мстительным криком смертельно раненного он повернулся к трем соавторам артистки Фрелих.

— Наконец-то мы с вами стоим лицом к лицу, Ломан...

Он начал разоблачать всех троих перед судом и публикой. Любовные стихи Ломана, ночные путешествия Эрцума с балкона пастора Теландера, наглое поведение Кизелака в непоказанном школьникам заведении; он все выволок наружу, трепеща от ярости. Были оплеваны и неудачливый дядя Эрцума, и тупое чванство городских патрициев, и предавшийся пьянству портовый чиновник, отец Кизелака.

Суд был неприятно поражен этим фанатическим бредом. Товарищ прокурора с извиняющимся видом посматривал на Ломана и Бретпота. Молодой защитник насмешливо и удовлетворенно наблюдал за построением публики. Унрат смешил и возмущал.

Наконец, председатель заявил, что суд в достаточной мере уяснил себе отношение учителя к его ученикам. Не слушая его, Унрат продолжал:

— Доколе еще существа эти, подобно Катилине,

будут осквернять своей гнусностью землю, которую они попирают ногами! Теперь они утверждают, что артистка Фрелих принимала участие в их преступных оргиях. Поистине: им осталось только одно — запятнать честь артистки Фрелих!

Среди всеобщей веселости, вызванной этими словами, Унрат чуть не потерял сознание. Ибо сказанное не соответствовало его внутреннему убеждению. В него вселилась уверенность, что артистка Фрелих, которую он в день выборов потерял из виду, была у кургана. Более того. Мысленно окинув беглым взглядом факты, которым он до сих пор не придавал никакого значения, он едва не задохнулся. Артистка Фрелих постоянно отказывалась с ним выходить. Все ее отговорки, чтобы остаться одной дома, что скрывали они?.. Ломана?..

Он снова обрушился на Ломана и крикнул ему, что власть его касты подлежит свержению. Но председатель приказал ему вернуться на место и распорядился ввести свидетельницу Фрелих.

Ее появление вызвало глухой шум. Председатель пригрозил очистить зал. Публика успокоилась: актриса Фрелих понравилась. Она была в сером суконном костюме, скромном и изящном, гладко причесана, в шляпе умеренных размеров с одним-единственным страусовым пером, и только слегка подрумянена. Молодая девушка из публики громко высказала матери свое восхищение перед красотой девицы.

Без малейшего смущения приблизилась она к судейскому столу. Председатель приветствовал ее легким поклоном. По предложению товарища прокурора

ее допрашивали, не приводя к присяге, и, пленительно улыбаясь, она откровенно показала, что, действительно, принимала участие в загородной прогулке. Защитник Кизелака решил, что, наконец, настал момент выступить.

— Я обращаю внимание суда на то, что из трех обвиняемых только мой подзащитный отдал дань правде.

Но никто не интересовался его подзащитным.

Товарищ прокурора полагал, что факт подстрекательства доказан и что интеллектуальным виновником преступления, которое оба молодых человека из вполне понятной галантности хотели взять на себя, целиком и полностью является актриса Фрелих. Защитник Кизелака воспользовался случаем отметить, что несимпатичное — это он вынужден признать — поведение его подзащитного является следствием испорченности, к которой неизбежно приводит молодых людей общение с женщинами того сорта, к которому принадлежит свидетельница.

— Что они сдлакали с этим дурацким курганом, я не знаю, да и знать не желаю, — небрежно сказала свидетельница Фрелих. — Знаю только — это насчет испорченности, о которой говорил вон тот господин, — что в то самое воскресенье один из молодых людей сделал мне форменное предложение. Но, к сожалению, я не могла им воспользоваться.

Раздался смех, многие в публике качали головами. Свидетельница Фрелих пожала плечами, она не смотрела ни на кого из подсудимых. Вспыхнувший огнем Эрцум внезапно сказал:

— Это правда.

— Конечно, — добавила она, — отношения между мной и этими тремя школьниками были вполне приличны, и все ограничивалось, если можно так выразиться, одними пустяками.

Это объяснение предназначалось для Унрата, и она стала искать его глазами. Но Унрат сидел с опущенной головой.

— Хочет ли свидетельница этим сказать, — спросил товарищ прокурора, — что ее общение с подсудимыми ни в какой мере не выходило за пределы границ, допускаемых кодексом нравственности?

— Ну «ни в какой мере», это слишком сильно сказано, — и она приняла решение окольным путем, при помощи судебного процесса, во всем признаться своему старенькому Унрату. Постоянные уловки требовали все более запутанных объяснений. — «Ни в какой мере», я бы не сказала, но лишь в очень незначительной.

— Что называет свидетельница «незначительным»? — осведомился председатель.

— Вот этого, — сказала она и указала на Кизелак, который под устремленными на него взглядами всего зала скосил глаза на кончик своего носа. Он возбуждал все большую антипатию; теперь этому способствовало еще и счастье, которое ему выпало. Правда, он попытался уверить:

— Врет она.

Но председатель от него отвернулся. Как и все присутствующие, он был в возбужденном и игривом настроении. Ломан, больно задетый разоблачением



неудачного сватовства своего друга, фон Эрцума, воспользовался моментом, чтобы сказать тоном светской непринужденности:

— Чего вы хотите? У дамы свои вкусы. Она снисходит к мольбам Кизелака — о чем, кстати сказать, я узнаю здесь впервые. О другом объекте ее благосклонности нам известно больше. Но зато она решительно противится тому, чтобы стать графиней. А мне, никогда не предъявлявшему ей никаких претензий, она постоянно твердила, что я буду у нее последним.

— Верно! — сказала актриса Фрелих, надеясь, что это услышит и оценит Унрат. В зале смеялись. На этот раз председатель весь затрясся; один из судей фыркнул и схватился за живот. Представитель обвинения злобно искривил губы, а защитник скептически их поджал. Эрцум шепнул Ломану:

— Еще и с Кизелаком... Конец! Для меня она больше не существует.

— Наконец-то... Впрочем, мы удачно выпутались. Кто влопался, так это Унрат.

— Только не мешай мне, — быстро шепнул Эрцум, — взять на себя эту историю с курганом. Мне все равно придется уйти из школы и поступить на военную службу.

Председатель пришел в себя и еще раз отечески пригрозил очистить зал. Потом он заявил, что допрос свидетельницы Фрелих окончен, и она может удалиться. Вместо этого она направилась в публику. Она не могла понять, куда девался Унрат.

Когда разразилось всеобщее веселье, Унрат поторопился выскользнуть из зала. Он мчался, словно ему угрожали проваливающиеся плотины, потоки проливного дождя, извергающиеся вулканы. Вокруг него все рушилось и увлекало его в бездну: — артистка Фрелих занималась посторонними делами! Стоило ему отвернуться, как Ломан и другие, которых Унрат считал навсегда повергнутыми и побежденными, подымались из праха. Артистка Фрелих не постеснялась вступить с ними в связь! Относительно Кизелака она уже созналась, относительно Ломана отрицала еще. Но Унрат ей больше не верил! И в нем подымалось беспомощное удивление перед тем, что артистка Фрелих оказалась недостойной доверия. До сегодняшнего дня, до этого страшного мгновения она была частицей его самого, и вот она неожиданно от него отделилась. Унрат видел кровоточащую рану и не мог этого понять. Так как он никогда не общался с людьми, он не знал, что такое предательство. Теперь он страдал, как мальчик, как страдал из-за этой же женщины его ученик Эрцум. Он страдал неистово, беспомощно и недоуменно.

Унрат пошел домой. При первом же слове служанки он вскипел и выгнал ее на улицу. Потом он ринулся в свою комнату, заперся, бросился на диван и жалобно заскулил. Устыдившись, вскочил и достал рукопись о партикулах Гомера. Снова склонился он над конторкой, вздернувшей за тридцать лет его правое плечо. Но отдельные листки рукописи были испещрены на обороте строками, обращенными к актрисе Фрелих, или же заметками, ее касающимися.

Нескольких страниц даже не хватало,— в свое время он заслал их ей по халатности. И он вдруг увидел, что вся его творческая сила подчинена ей, что его воля давно устремлена только на нее и все его жизненные соки в ней. Сделав это открытие, он снова забился в свой уголок на диване.

Наступила ночь, и в темноте перед ним возникло ее пестрое, светлое, причудливое лицо; он со страхом в него всматривался. Теперь он уже знал, что лицо это дает основание для любых,— да, для любых подозрений! Артистка Фрелих принадлежала всем. Кровь бросилась ему в лицо, и он закрыл его руками. Его поздняя страсть, исторгнутая из высохшего тела медленным и искусным соблазном, эта страсть, вспыхнувшая неестественно мощным пламенем, опрокинула всю его жизнь, помутила рассудок и теперь терзала его ужасными виденьями. Он видел актрису Фрелих в ее маленькой комнатке в «Голубом ангеле», видел ее зовущие жесты, ее первые интимные жесты того вечера и ее щекочущий взгляд.

Теперь ее жесты и взгляды скользили мимо него, предназначались другому... Ломану... Унрат видел всю сцену, до конца, до самого конца, и она плясала перед его глазами, потому что он рыдал.

## XII

Благодаря сохранившейся долголетней привычке, он продолжал свои уроки в гимназии, хотя и предвидел, что ходит туда последние дни. Все без исключения учителя окончательно решили не замечать его.

Стоило Унрату войти со своими тетрадами в учительскую и сесть за стол, как один прятался за газету, другой вставал из-за стола, третий начинал плевать.

В классе отсутствовали Ломан, фон Эрцум и Кизелак, — все трое. Остальных Унрат презирал и представлял их самим себе. Иногда он, зашипев, награждал кого-нибудь полудневным карцером. Но потом забывал распорядиться, чтобы педель привел приговор в исполнение.

На улице он никого не видел и не слышал ни оскорблений, ни похвал; не замечал, как извозчики останавливали лошадей, чтобы продемонстрировать его приезжим, как городскую достопримечательность. Где бы он ни появлялся, всюду говорили о его процессе. Для людей Унрат был, в сущности, обвиняемым, и его поведение на суде вызывало сострадание и тнев.

Завидев Унрата, пожилые люди, ученики прежних лет, для которых он был олицетворением веселых, позлащенных временем воспоминаний юности, останавливались и покачивали головами.

— Во что превратился наш старый Унрат? Просто жуть берет, какие он стал выкидывать коленца.

— Не дело, чтобы учитель выступал так против мальчишек. Хорош воспитатель юношества! А его выпады против купечества и лучших семей в городе. Да еще на суде! Нечего сказать!

— И это позволяет себе человек, который сам в таком возрасте падок на всякие шашни и на глазах у всех попадает впросак. Ведь он же у всех на виду,

под стеклянным колпаком. Об этой истории уже поговаривают в городе, и я знаю от Бретпота, что его больше не желают держать в школе. Может убираться со своей возлюбленной.

— А девка шикарная!

— Безусловно!

Мужчины посмеивались, и в глазах у них загорались искорки.

— И как это ему в голову взбрело?

— Да ведь я вам всегда говорил. Против такого имени никому долго не устоять: теперь это настоящий старый унрат.

Вспомнили и про его сына, которого видели как-то на ярмарке с подозрительной женщиной. Ссылались на то, что яблочко недалеко от яблони падает, и по примеру учителя Гюббенета утверждали, что нравственное падение отца можно было предсказать заранее. Уверяли, что Унрат всегда был какой-то нелюдимый, зловещий, вызывающий подозрение, и что его речи на суде, направленные против почтеннейших лиц города, несколько никого не удивили.

— Такого старого мерзавца давно убить следовало, — громко говорил, завидев приближающегося Унрата, прислонившийся к входной двери своей лавки торговец сигарами Мейер, все свои счета на имя профессора неизменно начинавший с зачеркнутого «У».

Когда Унрат рано утром крался мимо кафе «Централь», арендатор кафе говорил, обращаясь к кельнерам, убирающим помещение:

— Надо очистить кафе и от нравственного унрата.

С другой стороны, нашлись и такие оппозиционно

настроенные граждане, которые радостно приветствовали эмансипацию Унрата, усматривая в нем своего единомышленника во враждебном отношении к существующему строю. Они созывали собрания, на которых обсуждалось его мужественное выступление против привилегированных лиц города. Унрату предлагали произносить речи. Их воззвания гласили:

— Шапки долой перед таким человеком!

На их письменные приглашения Унрат не отвечал, а посланных отсылал обратно, даже не отпирая им двери. Он сидел в своем кабинете и с ненавистью, страстью и злобой думал об артистке Фрелих, о том, как заставить ее покинуть город. Он вспомнил, что настойчиво требовал этого от нее при первой встрече. Зачем она воспротивилась тогда учителю! А теперь она натворила уйму бесчинств, принесла много зла, и Унрату в его безграничной и мучительной жажде мести представлялось самым желанным, чтобы актриса Фрелих кончила свои дни в глубоком и мрачном курятнике.

Днем он тщательно избегал улиц, на которых мог ее встретить. Только по ночам пробирался он иногда в местность, где она жила, в час, когда в занавешенных окнах пивных уже не мелькали силуэты учителей с прыгающими челюстями. Робко, враждебно, полный горестного желанья, описывал Унрат большой круг вокруг отеля «Шведский двор».

Однажды из темноты вышел человек и поклонился; это был Ломан. В первый момент Унрат отпрянул назад; он задышался. Потом он растопырил руки и обеими сразу хотел схватить Ломана, который веж-

ливо увернулся. Став твердо на ноги, Унрат зашипел:

— И вы еще осмеливаетесь, несчастный, попадаться мне на глаза! Около самой - квартиры артистки Фрелих натыкаюсь я на вас! Вы уже опять занимаетесь посторонними делами!

— Уверю вас, господин профессор, — мягко сказал Ломан, — вы ошибаетесь. Вы кругом ошибаетесь.

— Что же еще можете вы здесь делать, проклятый мальчишка?

— Сожалею, что не могу вам этого объяснить. Но вас, господин профессор, это ни в малейшей степени не затрагивает.

— Я окончательно вас раздавлю! — сказал Унрат; глаза его сверкали, точно у бешеной кошки.— Будьте готовы к тому, чтобы со стыдом и позором вылететь из школы.

— Буду рад, если это даст вам удовлетворение, господин профессор,— сказал Ломан без малейшей насмешки, скорее даже печально, и медленно пошел дальше, преследуемый угрозами Унрата.

У него больше не было желания оскорблять Унрата. Ломан считал это недостойным теперь, когда на него обрушились все несчастья. Он чувствовал сострадание к старику, грозившему выгнать его из гимназии в момент, когда решено было его собственное увольнение, — чувствовал сострадание и своего рода сдержанную симпатию к этому одинокому мироненавистнику, опрометчиво всех против себя восстановившему, к этому забавному новоявленному анархисту.

В его постоянном подозрении насчет Ломана и

актрисы Фрелих было что-то жалкое и трогательное; была в этой ситуации и трагическая ирония, если принять во внимание, что в действительности заставило Ломана выйти этой ночью на улицу. Он шел с Кайзерштрассе. Фрау Дора Бретпот сегодня вечером родила. И тайная нежность Ломана склонялась над ложем страдальцы. Его сердце, этот бесплодно и смиренно мерцающий огонек, жаждало согреть крошечное дрожащее детское тельце, рождению которого способствовал ассессор Кнуст или лейтенант Гиршке, а, может быть, и сам консул Бретпот. Сегодня ночью Ломан подошел к дому Бретпота и поцеловал запертую дверь.

Через несколько дней судьбы, парившие в воздухе, свершились. Ломану, несколько в этом не заинтересованному, разрешили до его отъезда в Англию оставаться в гимназии; его родственники были слишком влиятельны, чтобы можно было серьезно думать об его исключении. Кизелак был обязан своим исключением не происшествию с курганом, а своему непристойному поведению на суде, больше же всего своим отношениям с актрисой Фрелих, о которых она сообщила суду и которые были сочтены непозволительными для шестиклассника. Фон Эрцум ушел добровольно и поступил в военную школу. Унрата уволили.

До осени ему предоставили право продолжать педагогическую деятельность. Но он прекратил ее немедленно, по соглашению с соответствующими властями. В первое свободное от службы утро, когда, ничем не занятый и обреченный на вечную праздность,



Унрат сидел у себя на диване, 'к нему пришел пастор Квитиенс. Он давно уже наблюдал, как некая душа все глубже погрязает в пороках и заблуждениях. Теперь, когда сей человек был повергнут в прах, пастор считал уместным вмешаться, дабы сделать что-то для спасенья христианской души.

Закурив сигару, точно простой смертный, он тут же с места начал скорбеть о печальных делах Унрата, о его одиночестве, о враждебности, которую он навлек на себя как раз со стороны лучших. Положение не из легких, надо что-то предпринимать. Если бы у него, по крайней мере, оставалась его привычная работа! Его увольнение усугубляет несчастье, безысходно отдавая его во власть горестных размышлений. Ну, «безысходно» это слишком сильно сказано. Пастор Квитиенс берется содействовать тому, чтобы вернуть его в лоно общества. Он постарается проташить его в какой-нибудь политический союз или кегельный клуб. Тут имеется, правда, одно условие— пастор, казалось, сожалел об этом обстоятельстве и смотрел на него, как на неизбежное зло — Унрат должен раскаяться в своих заблуждениях перед богом и людьми и покончить с ними.

Унрат по сути дела не дал на это никакого ответа. Предложение его не интересовало. Уж раз артистка Фрелих была для него потеряна, то не было никакого смысла заменять ее кегельной партией.

Тогда пастор Квитиенс осветил этот вопрос более широко. Он начал сокрушаться об учениках, чья юность отравлена примером человека, который был призван их охранять. И это не только ученики шес-

того класса, нет,— также и все другие; и это не только все другие в стенах гимназии, но и за ее пределами, все бывшие ученики,— словом, город в целом. Все они — и пастор Квитиенс не воспрепятствовал сигаре потухнуть — должны усомниться в уроках своей юности и поколебаться в чистой вере. Хочет ли Унрат взвалить на свою совесть столь тяжкое прегрешение? Мальчик Кизелак уже попал в беду, не станет же Унрат отрицать, что и он несет известную ответственность за случай с упомянутым дитятей. Но этим, конечно, не исчерпывается зло, причиненное тем, что от веры и нравственности отпал такой человек, как Унрат...

Унрат остолбенел. О судьбе, постигшей Кизелака, он слышал впервые; и весь загорелся от радости, что является причиной его гибели. Самому ему и в голову не приходило, что его пример может представлять опасность для других и сеять в городе заразу. Это открывало огромные возможности для мести и страшно его взволновало. На его щеках выступили красные пятна; углубившись в свои мысли, почти перестав дышать, он пощипывал редкую растительность на своем лице.

Неправильно его поняв, пастор Квитиенс заявил, что был уверен в том, что Унрат близко примет это к сердцу. А если вспомнить, кто то существо, из-за которого он навлек на себя и на других эти страшные неприятности, то его «*faux pas*»<sup>1</sup> станет особенно очевидным.

---

1. Ложный шаг (франц.) Прим. пер.

Унрат осведомился, говорит ли пастор об артистке Фрелих.

Конечно. Теперь, после ее показаний на открытом заседании суда, у Унрата несомненно открылись глаза. Любовь слепа, этого нельзя не признать — и пастор Квитиенс снова зажег свою сигару. С другой стороны, пусть Унрат вспомнит свои студенческие годы и все то, чего пришлось тогда навидаться в Берлине. Ведь не были же они растяпами, ха, ха, ха, и знали толк в подобных дамочках. Нет, эти особы не стоят того, чтобы ради них ставить вверх дном свое и чужое существование. Да, как вспомнишь Берлин...

Пастор Квитиенс блаженно улыбался, собираясь пуститься в интимные воспоминания. Меж тем Унрат сидел, как на иголках. Внезапно он прервал своего собеседника: относится ли все сказанное к артистке Фрелих? Удивленный пастор ответил утвердительно. Тогда Унрат вскочил, запыхтел и, брызгая на пастора слюной, глухо и угрожающе закричал:

— Вы оскорбили артистку Фрелих! Эта дама находится под моим покровительством. Оставьте же — итак значит вперед — мой дом!

От ужаса пастор так и откатился от него вместе со своим стулом. Унрат бросился к двери и открыл ее. Когда он, трепеща от ярости, снова накинулся на пастора, тот, трусливо описав дугу, вместе со стулом выкатился за дверь. Унрат запер ее.

Задыхаясь, он долго метался по комнате. Он вынужден был признаться самому себе, что только что желал актрисе Фрелих всякого зла. Его мысли о ней

были ужасны. Но то, что является правом Унрата, отнюдь не дозволено Квитиенсу. Артистка Фрелих выше пастора Квитиенса. Она выше всех, — она единственна и священна перед лицом человечества. Хорошо, что таким образом он снова пришел к правильной оценке вещей. Ведь артистка Фрелих кровно его касается. Кто осмеливается оскорблять ее, посягает на него самого. Снова его охватил обычный припадок ярости, трусливой ярости тирана, и он вынужден был прислониться к стене, как тогда в «Голубом ангеле», когда ее высмеяла публика. Высмеивать ее, ту, что он собственноручно примирова! Критиковать ее выступления, которые он до известной степени сам предлагал вниманию публики! Правда, ее выступление у кургана гуннов — конечно значит — не делает ей чести и очень огорчило Унрата. Но это их личное между собой дело, дело Унрата и артистки Фрелих! Он хотел пойти к ней, он не намерен был дальше это откладывать.

Он схватил шляпу, но снова повесил ее на место.

Она его предала... поистине, право... Но с другой стороны, она стала, таким образом, причиной гибели ученика Кизелака. Разве это ее не оправдывает? Нет еще? Но если она... приведет к гибели и остальных учеников?

Унрат остановился; его лицо пылало, голова была опущена. И пока он стоял неподвижно — в нем происходила страшная борьба между ревностью и жадой мести. Наконец, жажда мести победила. Артистка Фрелих была оправдана.

Он размышлял об учениках, которых она должна привести к гибели. Какая досада, что владелец табачного магазина Мейер уже не учится в гимназии; и тот приказчик, что не кланяется, а скалит зубы; и все другие жители города. Всех их привела бы к гибели артистка Фрелих. Всех из-за нее со стыдом и позором изгнали бы из гимназии. Иной гибели Унрат не мог себе представить. Вылететь из гимназии — ничто более страшное не приходило ему в голову.

Когда он постучал к актрисе Фрелих, она в верхнем платье встретила его у дверей.

— Ах! Вот и он! А я как раз собиралась к тебе. Ты, конечно, не веришь, но помереть мне на месте, если я вру!

— Пусть будет так! — сказал Унрат.

И это было правдой.

Когда Унрат перестал показываться, актриса Фрелих сначала просто сказала себе: «Нет, так нет», и решила не переезжать в собственную квартиру, а продав подаренную ей мебель, пожить в свое удовольствие, и затем, ввиду того, что супруги Киперт устроились в другом городе и уже уехали, подыскать себе новый ангажемент. Видит бог, она питала к своему старенькому Унрату самые дружеские чувства, но ведь не кричать же об этом на всех перекрестках, и если он не желает этому верить, так пусть его не верит. У нее была своя философия. Гораздо легче втереть очки после измены, чем доказать свою под-

линную невинность. Да и вообще, ей конца не будет, этой игре в прятки с прошлым, если даже в таком ребячестве, как история с курганом, человек находит что-то и воображает, что она и после знакомства с ним способна пойти со всяким. Очевидно, старик все-таки ей не пара. Ведь бывает же, что человек ошибся; и тут уж ничего не попишешь. На улице иной полчаса бежит за тобой следом, а как рискнет, наконец, поровняться и взглянет в лицо, так сразу назад поворачивает и делает вид, что вовсе это не он. Вот и Унрат знал ее только со спины, а как увидел в лицо, так все сразу и кончилось. Ну и чорт с ним!

Но ввиду того, что время шло, а она скучала и наличные деньги у нее кончились, она пришла к заключению, что было бы слишком глупо поставить на этом деле крест. Вероятно, старик просто стесняется, дуется и ждет, чтобы она протянула ему пальчик. Будет сделано. Ведь это же старый ребенок, немного смешной и упрямый. Она вспомнила, как он выставил из артистической капитана и даже поссорился из-за него с Кипертом, и засмеялась. Но вдруг ее глаза приняли то застывшее и задумчивое выражение, с каким она иногда смотрела на Унрата. Он был ревнив, это несомненно, и это поднимало ее в собственных глазах. Может быть, он сидит у себя, наливаясь ядом и злится по-паучьи и от разлития желчи не может даже обедать. Ведь это ужасно! Ее доброе сердце растрогалось. И не только из личной выгоды, нет, также из сострадания и уважения к нему собралась она в путь!

— Давненько мы не виделись,— сказала она, застенчиво и насмешливо.

— На то имелись свои основания,— заявил Унрат.— Я был — поистине право — занят.

— Вот как. Чем же?

— Своим увольнением из состава педагогов местной гимназии.

— Понимаю. Это упрек.

— Ты оправдана. Ведь и ученик Кизелак исключен, и для него навсегда закрыта карьера образованного человека.

— Поганец! Так ему и надо!

— Остается только пожелать, чтобы подобная же судьба постигла множество других учеников.

— Да, но как же это устроить? — и она улыбнулась ему.

Унрат покраснел. Наступило молчание; она ввела его в комнату и усадила. Потом она скользнула к нему на колени.

— Так Унратик больше ни капельки не сердится на свою артисточку Фрелих? Знаешь, на суде я, действительно, все сказала. Я призвала бы бога в свидетели, да это не поможет. Но ты можешь мне поверить.

— Пусть будет так! — повторил он. И, стремясь приблизиться к ней, вместе разбираясь в случившемся:

— Мне — конечно, значит — хорошо известно, что так называемая нравственность в большинстве случаев теснейшим образом связана с глупостью. В этом может сомневаться только человек, не получивший клас-

сического образования. Нравственность выгодна лишь тому, кто, не обладая ею сам, с легкостью подчиняет себе тех, кто не могут без нее обойтись. Я даже утверждаю, и могу это доказать, что от рабских душ следует строго требовать этой так называемой нравственности. Однако, это требование — итак, значит внимание — никогда не мешало мне понимать, что существуют круги с нравственными законами, существенно отличающимися от законов вульгарных филистеров.

Она удивленно и внимательно слушала.

— Да что ты! Где же они? Это не обман?

— Я сам, — продолжал Унрат, — постоянно придерживался привычной морали филистеров: не потому, чтобы я высоко ее ценил или был к ней привязан, но потому — итак, значит вперед, — что не было говода с ней расстаться.

Говоря, он старался поддать себе жару, — так, весь красный, запинаясь и ослабев от страшного стыда, излагал он свое смелое мировоззрение.

Она была восхищена его речью и польщена тем, что эта речь была обращена к ней, только к ней.

И когда он добавил:

• — Но от тебя, должен признаться, я никогда не ожидал поведения, родственного моему...

Она от удивления и умиления состроила гримасу и поцеловала его. Когда она оторвала от его рта свои губы, он продолжал:

— Что, однако, не помешало...

— Чему же? Чёму не помешало, Унратик?

— Тому, что из-за моего расположения к тебе мне



в этом конкретном случае было крайне тяжело перенести некоторые факты, которые, согласно указанному принципу, казалось, заслуживали бы одобрения, и что эти факты даже причинили мне много страдания.

Почти догадываясь, она приблизила к его лицу вкрадчиво склоненную набок головку.

— Потому что я считаю тебя женщиной, обладание которой не так легко заслужить.

Она стала серьезной и задумалась.

— Пусть будет так,— покорно заключил Унрат.

Но вдруг под наплывом страшного воспоминания:

— Есть только один, которого я никогда не смог бы тебе простить, от которого ты — именно, именно — навсегда должна отказаться и которого ты больше не должна видеть. Это — Ломан.

Она видела, что он изнемогает, что он весь в поту, но ничего не поняла, потому что не знала ничего о поразившем его однажды мучительном видении, видении ее и Ломана.

— Ах да, — сказала она, — ведь ты всегда ненавидел его. Ты даже хотел изрубить его на котлеты. И пожалуйста, Унратик, сделай это, но только не сердись на меня. Мне, слава богу, такой глупый мальчишка совершенно не нужен. Если бы только я могла это тебе втолковать, но тут уже ничего не поделаешь! Хоть плачь!

И ей действительно хотелось плакать, потому что он не верил ее равнодушию к Ломану; и потому что где-то в самой сокровенной глубине ее сердце стремилось к Ломану, и это лишало ее слова убедительности;

и потому что Унрат, этот глупый старый ребенок, так часто и так неловко этого касался; и потому что в жизни явно не существовало покоя, к которому она страстно стремилась.

Но так как Унрат не понял бы причины ее слез и так как она не желала излишне усложнять положение, она отказала себе в удовольствии заплакать.

Наступило чудесное время. Они вместе ходили по магазинам покупать все недостающее для квартиры и приданого актрисы Фрелих. В выписанных из Гамбурга туалетах сидела она почти каждый вечер в ложе городского театра и рядом с ней Унрат, с тайным удовлетворением отмечавший все устремленные на нее завистливо-возмущенные и враждебно-похотливые взгляды. Скоро открылся летний театр, и можно было сидеть в саду среди зажиточной и почтенной публики, есть бутерброды с семгой и наслаждаться тем, что многим это не по душе.

Актриса Фрелих больше не боялась враждебных влияний на Унрата. Опасность была преодолена; ради нее он подвергся увольнению и навлек на себя всеобщее презрение.

Вначале ей было немножко не по себе. «Как могло случиться, — думала она, — что из-за нее человек столько взвалил себе на плечи?» Потом она стала пожимать плечами. «Таковы мужчины».

Понемногу она пришла к заключению, что он прав; она стбит того и даже большего. Унрат так часто твердил ей о том, как высоко она стоит и как недо-

стойно человечество ее лицемерия, что в конце концов она стала принимать себя всерьез. До сих пор никто не принимал ее всерьез, и она сама по этому тоже. Она была благодарна Унрату за то, что он открыл ей глаза. Она чувствовала, что в свою очередь обязана высоко ценить человека, поставившего ее на такой пьедестал. Более того: она силлась его полюбить.

Неожиданно она заявила, что хочет заниматься латинским языком. Он не замедлил исполнить ее желание. Во время уроков она перебивала его, отвечала невпопад или же совсем не слыхала вопроса и не спускала с него глаз, занятая другими вопросами к самой себе. Во время третьего урока она спросила:

— Скажи, Унратик, что труднее выучить — латынь или греческий?

— Большинству труднее греческий.

А она:

— Тогда я хочу изучать греческий.

Он пришел в восторг. Он спросил:

— Почему?

— А потому, мой Унратик.

Она поцеловала его, и это выглядело как пародия на нежность. А между тем она нисколько не кривила душой. Он сделал ее честолюбивой, и в угоду ему она вместо латинского захотела изучать греческий, потому что это было труднее. Высказанное ею желание было предвосхищением признания в любви — в любви, к которой она хотела себя принудить.

Трудновато оказалось это — полюбить ее старенького Унратика; труднее даже, чем греческий язык.

Она постоянно проводила пальцами — словно хотела впитать их — по очертаниям его деревянной маски, по трясущимся челюстям, по угловатым впадинам, из которых его глаза косились ядовито на всех других и с детской готовностью на нее. При этом она испытывала сострадание и слабую нежность. Жесты его и слова, беспомощный комизм первых и торжественная велеречивость последних, — все ее трогало. Она часто вспоминала и об уважении, которого он заслуживал. Но дальше этого дело не шло.

Чтобы возместить неудачу этих попыток, она иногда проявляла на уроках греческого языка большое усердие. Тогда щеки Унрата покрывались красными пятнами, и он, трепеща от наслаждения, устремлялся навстречу партикулам. Когда он открыл Гомера и впервые заставил ее прочесть μέν ἄε οὖν, когда эти обожаемые звуки действительно слетели с очаровательно покрашенных губок артистки Фрелих, его сердце бешено забило. Он был вынужден отложить книгу и собраться с мыслями. Взяв со стола маленькую, мягкую и всегда немного жирную руку актрисы Фрелих, он, все еще задыхаясь, сказал, что не расположен расстаться с ней хотя бы на один час оставшейся ему жизни. Он хочет на ней жениться.

В первый момент она скривила губы, собираясь заплакать. Потом она растроганно улыбнулась, прижалась щекой к его плечу и стала раскачиваться. Раскачивание перешло в судорожное подергивание; ее восторг вырвался наружу, она стащила Унрата со стула и завертела его по комнате.

— Я буду фрау Унрат! Лопнуть можно от смеха!

Фрау профессор Унрат... Нет Раат, господа, прошу покорно!

И она немедленно изобразила почтенную даму, опускающуюся в кресло. Несколько минут она рассуждала разумно: теперь ей больше не нужна ее новая квартира; ведь большая часть мебели и так уже продана. Теперь она хочет поселиться с Унратом в его вилле у городских ворот и заново ее отделать! Потом ее снова охватил порыв бурного восторга. Наконец, она успокоилась, задумалась и сказала:

— Чего только ни бывает с человеком!

Когда он спросил, рада ли она, и заметил, что скоро все это осуществится, она только рассеянно улыбнулась.

В последующие дни ему казалось, что она чем-то сильно отвлечена. Иногда она казалась очень озабоченной, но настойчиво это отрицала. Она часто куда-то уходила и сердилась, когда он хотел идти с ней. Пораженный, он смутно почувствовал какую-то мучительную загадку. Однажды он встретил ее на улице в тот момент, когда она выходила из дешевой гостиницы. Пройдя несколько шагов в молчании, она таинственно сказала:

— Не всегда бывает так, как человек думает!

Это еще больше его взволновало, но она не хотела объясниться.

Спустя несколько дней, когда Унрат одиноко и печально брел в обеденный час по пустынной Зибенбергштрассе, к нему подошел маленький, одетый в белое ребенок и сказал наивным певучим голоском:

— Пойдем домой, папа.

Унрат остановился и удивленно уставился на протянутую ему маленькую ручку в белой перчатке.

— Пойдем домой, папа,— повторил ребенок.

— Что это значит? — спросил Унрат.— Где ты живешь?

— Там,— и он указал назад.

Унрат поднял глаза и увидел на углу актрису Фрелих с вкрадчиво склоненной набок головкой; ее немного отставленная от бедра рука робко жестикировала, как будто она извинялась и умоляла.

Унрат беспомощно пошевелил челюстями. И внезапно поняв, он просто взял все еще протянутую ему ручку в белой перчатке в свою руку.

### XIII

Семейство отправилось на близлежащий морской курорт. Оно поселилось в отеле и вступило во владение одной из деревянных кабинок на берегу. Актриса Фрелих носила к белым воздушным платьям белые ботинки и боа из белых перьев. В шляпе из *stêre-lisse* с развевающейся белой вуалью, рядом с белым ребенком, которого она вела за руку, она казалась совсем юной и веселой. Унрат тоже получил легкий белый костюм. Когда они прогуливались по длинным мосткам вдоль дюн, из всех деревянных кабинок на них наводились бинокли, и кто-нибудь из горожан рассказывал приезжим их историю.

Когда ребенок актрисы Фрелих играл сырым песком, ему приходилось очень крепко держать свои формочки. Едва какой-нибудь из них угрожала про-

блематическая опасность утонуть в воде или затеряться в песке, как к ней уже бросался какой-нибудь элегантный господин и приносил ее не ребенку, а актрисе Фрелих. Потом он кланялся Унрату и называл себя. Вследствие этого семейство вскоре стало садиться за кофе в своей береговой кабинке в обществе двух гамбургских купцов, молодого бразильца и фабриканта из Саксонии.

Эта разношерстная компания устраивала прогулки на парусных лодках, во время которых всех мужчин, кроме Унрата, тошнило. Он и актриса Фрелих улыбались друг другу. Ребенок ежедневно получал несколько фунтов пралине, а также оснащенные кораблики, деревянные лопаточки и нетонущие куколки. Неизменно царило отличное настроение. Иногда ездили верхом на ослах, и Унрат галопом проносился мимо эстрады музыкантов, вцепившись в ослиную гриву и потеряв стремяна, как раз в часы концертов. Актриса Фрелих визжала, ребенок испускал восторженные вопли, а за столиками роняли кислые замечания.

Когда к компании присоединился берлинский банкир с венгерской танцовщицей, «банда Унрата» заполонила весь курорт; шумела за «table d'hot'ом», требовала от капельмейстера исполнения номеров, с которыми в свое время выступала актриса Фрелих, затевала фейерверки, переворачивала все вверх дном, рождала вокруг себя веселье и возмущение.

Для всех, друживших с Унратом ради его жены, он был полнейшей загадкой. За столом он не справлялся с некоторыми блюдами, как-то на вечере он растя-

нулся на полу во весь рост, он носил свои английские костюмы, словно маскарадную одежду. Глядя на него, казалось, что он не может явиться серьезным препятствием и исполнять иную роль, кроме жалкой и забавной. Казалось, что он самой природой был обречен на то, чтобы сидеть в дураках. Однако во время оживленного флирта с его женой поклонник неожиданно ловил на себе его сухой и насмешливый взгляд. Когда он любовался подаренным его жене браслетом, у подарившего внезапно появлялось чувство, что он влопался. И даже добившись почти решающих успехов во время вечерней прогулки вдвоем с женой, пока супруг сидел с остальной компанией за пуншем, желая ему спокойной ночи, счастливец чувствовал себя осмеянным и сильно сомневался в том, что достигнет цели.

И он ее не достигал. Унрат прекрасно умел развенчать и уничтожить всякого в глазах актрисы Фрелих. Оставшись с ней наедине, он высмеивал англицизмы в речи обоих гамбургцев, пожимал плечами, вспоминая манеру бразильца бросать в воду монеты вместо плоских камешков, и передразнивал аристократическую повадку и жесты господина из Лейпцига при закурировании папиросы или откупоривании бутылки. И актриса Фрелих смеялась. Она смеялась, хотя доводы Унрата не вполне убеждали ее в том, что все это достойно презрения. К тому же и довод у него был один, что греки делали бы все это лучше. Но она всегда была благодарна тому, кто заставлял ее смеяться. Кроме того, она была покорена его упрямым и в своем догматизме почти величественным убежде-



нием в том, что ни одно человеческое существо не имеет ни малейшего значения рядом с ним и с нею. Очарованная этой силой, она научилась больше ценить себя и лучше держаться. Когда во время прогулки на одинокий утес бразилец бросился перед ней на колени, ломая руки, она сказала так, как будто у нее действительно открылись глаза, тоном безучастного созерцания:

— Но ведь вы же просто пустозвон!

А между тем ей льстило, что юноша, гостивший в семействе дачников, покинул всех своих знакомых, чтобы бродяжить с ней и мотать деньги. Но Унрат положил ему быть пустозвоном.

Унрат никогда не спрашивал ее, где она пропадала. Он не казался обеспокоенным, когда она слишком тщательно одевалась, когда у ее поклонников захватывало дух от ее летних платьев из кружев и воздушных тканей. Наоборот, пока мужчины ждали ее внизу, Унрат помогал актрисе Фрелих наводить красоту и гримировал ее, как прежде в артистической. Ядовито усмехаясь, он замечал:

— Народ теряет терпение. Надо было бы приказать играть на рояле, чтобы его успокоить.

Или:

— Если бы ты теперь, не кончив румяниться, неожиданно высунула голову, они бы наверное опять загототали.

Отъезд с курорта не обошелся без оживленного инцидента. На вокзал явилась вся «банда Унрата».

Едва бразилец успел перекинуться несколькими словами с актрисой Фрелих, как, хромя и задыхаясь, подошел старый маклер Фермолен, в семье которого гостил молодой приезжий, и попытался завладеть футляром, который актриса Фрелих держала в руках.

Бразилец только что по всей форме сделал ей это подношение. Унрату пришлось поспешить на помощь, чтобы отстоять права своей жены. Пока страшно сконфуженный юноша отрекался от всех своих родственников, старый Фермолен в сильном волнении объявил супругам Унрат, что его племянник уже давно промотал в их обществе все свои деньги. Эту брошку он уже не мог купить; к сожалению, его слабохарактерная тетка дала ему денег, но это были, его, Фермолена, деньги, и потому сделка не действительна.

На это Унрат спокойно и наставительно возразил, что у господина и госпожи Фермолен деньги, конечно, общие; что он не расположен вдаваться в такие интимные подробности, касающиеся семейства Фермолен, и что, кроме всего прочего, было уже три звонка. И крепко сжав своими старческими пальцами футляр, он посадил актрису Фрелих в вагон. Все размахивали шляпами, за исключением Фермолена, который грозил палкой.

Актриса Фрелих сделала робкое замечание о неприятном происшествии и его возможных последствиях. Унрат разъяснил ей неосновательность ее опасений. Он добавил, что у маклера Фермолена есть сыновья, бывшие его ученики, которых ему никогда

не удавалось «словить». Фермолены имеют в городе множество родственников.

Актриса Фрелих успокоилась. Показав камешки ребенку, она посмеялась с ним и сказала:

— Все эти финтифлюшки и побрякушки пойдут Мими, когда Мими понадобится приданое.

Унрат торжествовал: наконец-то он «словил» учеников Фермолен. Потом он задумался над тем, что в данном случае ученикам вместе с их многочисленным родством был причинен вред, не имеющий ничего общего с заточением в курятнике и исключением из гимназии. Значит, чинить людям зло и губить их можно и другим путем, а не только исключением из гимназии. Новым, непредвиденным путем...

Дома, в городе, они вернулись к прежней жизни. Им не доставало общества. До самого вечера, когда они непременно отправлялись в ресторан или театр, актриса Фрелих валялась в капоте на всех диванах. Чтобы немного развлечь ее, Унрат предложил заниматься греческим языком. Она раздраженно отказалась. Как-то вечером они смотрели комедию, и она узнала в появившейся на сцене кухарке свою знакомую.

— Да ведь это Гедвига Пилеман. Удивительно, что ее взяли, она никогда ни на что не годилась.

И она немедленно рассказала массу непристойностей из жизни бывшей подруги. Свой рассказ она закончила словами:

— Слушай, она должна нас навестить.

Пилеман пришла, и, желая пустить ей пыль в глаза, актриса Фрелих угощала ее изысканными завт-

ракми и ужинами. Теперь, вместо одной, на диванах валялись две дамы; они курили и припоминали друг другу уже не раз обсуждавшиеся события. Видя, как они скучают, Унрат терзался угрызениями совести. Он считал себя обязанным помочь делу, но самого его одолевали тайные заботы, и он был совершенно беспомощен. Как только раздавался звонок, он вскакивал с места и бросался к двери. Дамы обратили внимание на то, что он никогда не разрешает горничной отпирать дверь.

— Либо он готовит мне сюрприз,— сказала актриса Фрелих,— либо он мне изменяет; мой старенький Унрат вообще порядочная шельма!

Однажды пришло письмо из Гамбурга от обоих приятелей. Они собирались совершить осенью морское путешествие к берегам Испании и дальше до Туниса и выражали желание, чтобы к ним присоединились Унрат с женой.

— Ну что же,— сказала актриса Фрелих,— это не так плохо. Мы отправимся к дикарям. Ты тоже должна поехать с нами, Пилеман, постарайся получить отпуск. Мы выкрасимся в коричневый цвет, завернемся в простыни, и я надену диадему, которую носила, еще когда была артисткой.

Пилеман быстро согласилась. Мнения Унрата не спросили и только удивились, что он выказал так мало воодушевления. Он все отмачивался, пока Пилеман не ушла; тут дело дошло, наконец, до откровенного признания: у них больше не было денег.

— Но этого не может быть! Ведь у профессора должны быть деньги! — воскликнула актриса Фрелих.

Унрат смущенно улынулся. У него, действительно, было тридцать тысяч марок сбережений, но они растаяли: обстановка, туалеты, развлечения. Текущие расходы не соответствовали его пенсии; они ее значительно превышали. Унрат вытаскил перехваченные у дверей письменные напоминания о долгах от всевозможных поставщиков, рестораторов, портних. С ненавистью рассказывал он об унижительных уловках, которым ему пришлось научиться, чтоб отсрочить посещение судебного исполнителя, теперь уже ненадолго.

У актрисы Фрелих был испуганный и виноватый вид. Ведь у нее не было дурного умысла! Но раз так, то пусть два дурака отправляются к дикарям одни. Сегодня на обед будет только суповое мясо, хотя на кухне уже жарится гусь; а к ужину хватит колбасы, и потом она снова будет изучать греческий язык, потому что это самое дешевое. Унрат растрогался, он уверял, что он — поистине право — помнит о своем долге доставлять актрисе Фрелих все, в чем она нуждается.

— Ах да,— сказала она,— бронзовые башмачки за шестьдесят марок.

И она немедленно написала Пилеман: «У нас нет денег». Это событие внесло некоторое разнообразие в ее жизнь.

Пилеман решила, что Унрат должен давать уроки.

— Но как же это устроить? Ведь моего мужа здесь так ненавидят.

Пилеман, гордясь возможностью оказать услугу:

— Я пришлю ему моего друга. Пусть он его пообщипает, я закрываю на это глаза.

— Лоренцена? Виноторговца? Руки прочь! Это быв.ш.и́ ученик Унрата, он уже мне надоел с ним. Против тебя он не возражает, говорит он, но твой друг не переступит порога его дома... И если бы да-же я его уговорила, Лоренцен поостережется попасть к нему в сети.

— Ты меня плохо знаешь,— возразила Пилеман.— Я ставлю вопрос о доверии: или — или.

Унрату было объявлено, что виноторговцу Лоренцену, торгующему греческими винами, необходимо изучать греческий язык и что он должен давать ему уроки. Унрата охватила отчаянная тревога, но он не стал возражать. Коварно улыбаясь, он начал возбужденно рассказывать о бесчисленных проступках и попытках к бунту ученика Лоренцена, о случаях, когда он называл его этим именем, причем «словить» его не представлялось никакой возможности.

— Ну, что же,— заметил он во время своего рассказа,— еще ничего не потеряно.

И затем:

— Ты, конечно, помнишь, дорогая, кучку людей, сопровождавшую страшным шумом наш экипаж во время бракосочетания...

— Да, да, оставь пожалуйста,— перебила актриса Фрелих, потому что стеснялась упоминания об этих событиях в присутствии Пилеман.

Но Унрат, не смущаясь:

— „банду — конечно, значит, — оравшую перед ратушей и занимавшуюся посторонними делами, и в особенности Кизелака, запачкавшего твое атласное платье, когда ты садилась в экипаж. Ну, так вот!

Твердо установлено, что среди молодых злоумышленников, выкрикивавших тогда мое имя, покрыл себя позором и ученик Лоренцен.

— Я ему это припомню! — пообещала Пилеман.

— К сожалению, я не мог его «словить», — продолжал Унрат. — Но пусть теперь изучает греческий. Многих не удалось мне «схватить». Пусть бы они все теперь изучали греческий.

Лоренцен явился и был милостиво встречен. Из-за каждого недостающего карандаша или тетрадки Унрат призывал актрису Фрелих и втягивал ее в разговор. Сначала она должна была продемонстрировать ученику Лоренцену свои познания в греческом языке, потом разговор перешел на современные темы. Ученик Лоренцен настроился было на высокомерно-иронический лад. Но все это постепенно с него соскочило, когда он увидел, с какой непринужденной, размеренной грацией движется актриса Фрелих по комнатам, уставленным добропорядочной бюргерской мебелью, когда он нашел, что она одевается лучше, чем его собственная жена, постоянно возмущающаяся в театре актрисой Фрелих; когда понял, что легкая косметика, налет уличного жаргона и некоторая доза театральности придают своеобразную прелесть однообразию семейной жизни. Ну и плут, этот Унрат! С такой женой незачем итти ни в клуб, ни еще кое-куда. И вместо первоначального высокомерия Лоренцен стал относиться к чете Унрат с какой-то липкой услужливостью.

Он попросил разрешения принести в следующий раз своего вина. Кроме того, он принес паштет, и

урок греческого языка был заменен легким завтраком. Если нужно было что-нибудь подать к столу, выходил всегда Унрат. Сначала за пробочником, а когда выпили и ученик Лоренцен развеселился,— за множеством других вещей.

При следующей встрече актриса Фрелих высказала мнение, что было бы еще приятнее, если бы присутствовало побольше народу. Ученик Лоренцен згоял за интимность. Но Унрат присоединился к мнению своей подруги. Лоренцен должен был пригласить друзей. Пилеман привела товарку по театру. В обязанность мужчин входило заботиться о пирожных, закуске, фруктах. Хозяйка зато угощала чаем. Каждый раз неизменно требовали шампанского, и Унрат со своей затаенной усмешкой неизменно провозглашал:

— Уважаемые дамы и господа! Вам известно, что я — заслуженно или незаслуженно, да останется этот вопрос открытым — выбыл из состава преподавателей местной гимназии.

И каждый раз его заявление выслушивали до конца и веселились. Потом мужчины устраивали складчину и посылали за сектом. Иногда Унрат ходил сам. Его видели шествующим по улице позади мальчика с корзиной, озабоченного охраной винного транспорта, как когда-то в «Голубом ангеле».

Когда настроение было уже достаточно повышенным, актриса Фрелих, снисходя к просьбам гостей, исполняла свои любимые песенки: однажды, выпив лишнее, она вдруг запела песню о круглой луне. Унрат немедленно прервал ее и потребовал, чтобы гости разошлись. Все удивились, возмутились. Пробовали скан-



далить. Но увидев, что Унрат запыхтел и нерасположен это терпеть, они удалились. Актриса Фрелих, присмирив, просила у мужа прощения. Она совершенно не понимает, что это на нее нашло.

В гости к Унрату ходила, главным образом, молодежь, принадлежавшая к постоянным посетителям «Голубого ангела». Пока их было немного, они, не умея вступить с Унратом в простые человеческие отношения, держались трусливо и нагло; исподтишка издевались над ним, а как только приходилось отвечать за свои шутки, впадали в ученическую приниженность. Но потом их стало больше, и каждый в отдельности чувствовал себя на положении постороннего наблюдателя. Это лишило собрания отпечатка фальшивой интимности. Казалось, что Унрат просто перекочевал с своей труппой в меньшее заведение, где было удобнее встречаться с дамами. К тому же здесь двери запирались позже, и гости расходились когда вздумается. Однажды, когда почти все уже разошлись, Лоренцен предложил сыграть в баккара. Унрат проявил любопытство, попросил объяснить ему игру и, поняв ее, начал метать банк. Он выиграл. Как только ему перестало везти, он сейчас же передал банк. Лоренцен, как инициатор партии, чувствовал себя обязанным оживить игру. Он вытаскивал из бумажника одну стомарковую кредитку за другой. Многие раскраснелись и высказывали сожаление, что взяли с собой мало денег. Банкомету снова повезло. Проскользнув за стул мужа, актриса Фрелих шепнула:

— Видишь, видишь? Почему ты перестал метать, старый дурень?

Унрат возразил:

— Шляпа за восемьдесят марок твоя, дорогая. Кроме того, я имею возможность временно заткнуть глотку ресторатору Цеббелину. Этого достаточно.

И он бесстрастно смотрел, как кредитки Лоренцена исчезали не в его, а в чужих карманах. Важно одно: ученик Лоренцен их лишился; и Унрат учащенно задыхался, почувствовав, что вступил на тихо колеблющийся от подземных толчков путь к триумфу. Когда Лоренцен, придя в себя, тупо уставился на свой пустой бумажник, Унрат подошел к нему и сказал:

— Этим мы сегодня закончим наш урок греческого языка, Лоренцен.

Скоро по городу разнесся слух, что у Унрата устраиваются оргии. Мужчины на бирже, в клубе, в конторах, в пивных, за насиженными столиками жадно слушали приукрашенные скабрёзностями рассказы некоторых холостяков и приносили их отголоски в свои семьи. Жены шушукались и желали знать подробности. Что это за канкан танцевала фрау Унрат? Мужья не могли этого детально разъяснить, и жены рисовали себе картины неслыханного разврата. А игра в фанты, которой так увлекаются у Унратов? Пары ложатся в ряд на пол, мужчина около дамы, и покрываются большим одеялом. Так они лежат укрывшись до шеи, и пока одеяло неподвижно, никого не касается, что под ним происходит. Но если оно шелухнется, виновник или виновница должны платить штраф. Эта игра вызвала в городе небывалое возбуж-

дение. Темные слухи о ней проникли в среду молодых девушек, и они часами шептались об этом с глазами, полными испуганного любопытства. Кроме того, они слышали, что у Унратов женщины иногда показываются обнаженными до пояса. «Ужасно неприлично, но надо думать — забавно».

Лоренцен привел несколько офицеров, своих постоянных клиентов; среди них лейтенанта фон Гиршке. Ассессор Кнуст был одним из первых представителей почтенного бюргерского общества в доме Унрата. Он вступил в решительное соревнование с молодым учителем Рихтером, добивавшимся благосклонности актрисы Фрелих. Рихтер был, наконец, помолвлен с девушкой из богатой семьи, и положение жениха не послужило ему на пользу. Он быстро раздражался, страстно стремился к наслаждениям и легко терял свою обычную крепкую чиновничью голову. Увлеченный примером Лоренцена, он проигрывал за один вечер в доме Унрата несколько месячных окладов, затевал нелепые пари и, волочась за хозяйкой дома, забывал всякую сдержанность. В учительской отпустили злобные намеки насчет его общения с Унратом — этим позорным пятном учительского сословия.

В зависимости от того, как поворачивалось к нему счастье за карточным столом, у Унрата бывали взлеты и падения. То актриса Фрелих получала тысячное манто из шеншелей, и ее пестрое личико пикантно выглядывало из пушистого серого меха, то Унрату приходилось при появлении гостей залезать в постель и объявлять себя больным, потому что ни один ресторатор не хотел больше посылать ему продукты.

На следующий день он отправлялся к ним и доказывал, что катастрофа не принесет им ни малейшей пользы. На это было трудно что-либо возразить, и они соглашались продлить кредит до нового выигрыша Унрата.

Актриса Фрелих понтировала очень редко, но, сев за стол, не бросала карт, пока не проигрывалась в пух и прах. Как-то вечером на ее долю выпало счастье столь безоблачное, что ее противник Лоренцен вынужден был отступить... Страшно побледнев, он ушел, выкрикивая угрозы. Актриса Фрелих сидела ошеломленная, как осыпанный подарками ребенок, и держала в ослабевших руках золото и кредитки. Гости с внезапной почтительностью предложили ей сосчитать выигрыш; оказалось больше двенадцати тысяч марок. Она пробормотала только, что хочет спать.

Оставшись наедине с Унратом, она с лихорадочным блеском в глазах прошептала нежным, срывающимся голоском:

— Теперь у Мими опять есть приданое. С финтифлюшками и побрякушками нам пришлось расстаться, но теперь у нее опять есть приданое, и ей не придется итти по моей дороге.

Но уже на рассвете дом Унрата был атакован почуявшими деньги кредиторами; и хотя актриса Фрелих защищала приданое своей дочери собственным телом, его у нее вырвали.

Распространился слух, что виноторговец Лоренцен прекратил платежи. Унрат немедленно побегал за сведениями; он вернулся бледный, весь мокрый и не мог произнести ни слова. Наконец, задыхаясь, стуча зубами:

— Он обанкротился! Ученик Лоренцен обанкротился!

— А какая мне от этого польза?— возразила актриса Фрелих; она печально сидела на отоманке и раскачивала опущенными между колен руками.

— Ученик Лоренцен обанкротился, — повторил Унрат.— Ученик Лоренцен повержен в прах и никогда больше не поднимется. Его карьера — поистине право — кончена.

Он говорил очень тихо, словно боялся, что его вырвавшееся наружу ликование может взорвать его на воздух.

— Что тебе в этом? Ведь приданое Мими все равно пропало.

— Ученик Лоренцен попался. На этот раз мне удалось «словить» его и предать заслуженной судьбе.

Она видела, как он метался по комнате, словно сошел с ума. Его дрожащие руки хватали разные предметы, но он не замечал этих прикосновений. Она несколько раз заговаривала с ним, но слышала в ответ только торопливое бормотание:

— Ученик Лоренцен повержен в прах.

Мало-помалу его поведение ее заинтересовало. Его значительно более сильное душевное волнение погасило и подчинило себе ее собственное. Забыв о своих огорчениях, она пристально следила за мужем, смутно испуганная этой страстностью, как будто это было глубоко скрытым и вечно готовым вспыхнуть безумием. Покоренная, испытывая жуткий и сладостный трепет, она крепче привязалась к своему старенькому Унрату именно из-за нее, из-за этой страстности, этой хищной и опасной силы.

В число гостей Унрата замешалось даже несколько учеников, еще томящихся в тисках школы. Один из них, долговязый и светлорусый, проигрывал огромные суммы. Как-то в весенний вечер в конце сезона Унрат увидел на пороге своего врага, учителя Гюббенета, презрительно отзывавшегося об его сыне и говорившего перед его классом о «нравственном унрате, вернее грязи». И вот он стоит, мужественно выпрямившись, а Унрат встречает его ядовитой усмешкой. Приход коллеги не был для него неожиданностью: ученик Гюббенет играл очень крупно; в доме учителя что-то было не в порядке.

Красный, как рак, Гюббенет подошел к сыну и приказал потрясенному юноше следовать за ним. Ни к кому не обращаясь, он громко добавил, что примет необходимые меры к устранению порядков, созданных здесь бессовестными авантюристами, порядков, рассчитанных на развращение и соблазн слабовольных молодых людей и поддерживаемых за счет обворованных родительских касс и других на крови и грязи замешанных средств.

Один офицер поспешно улизнул. Другой, сильно взволнованный участник пирушки, подошел к возмущенному преподавателю и выразительно разъяснил ему, как неумно было бы поднимать шум. Он считает собрание подозрительным? Так пусть он сначала хорошенько присмотрится к присутствующим. Разве ему неизвестно, кто этот седеющий господин за карточным столом, у самого окна? Консул Бретпот. А кто

это оглянулся на Гюббенета, недовольно нахмурившись? Не кто иной, как полицейский советник Флад. Неужели Гюббенет действительно надеется чего-нибудь добиться, выступая против порядков, в которых заинтересованы такие лица?

Гюббенет не надеялся; это было видно по его лицу. Правда, он произнес еще что-то в катоновом духе, но уже увядшим голосом. И отступил. Никто больше не обращал на него внимания. Только победоносно сияющий Унрат проворно побежал за ним, предложил ему освежиться каким-нибудь напитком и, когда тот пожатием плеч указал на разделявшую их нравственную пропасть, сердечно крикнул ему вслед, что двери его дома всегда широко открыты для Гюббенетов, отца и сына.

Снова наступил купальный сезон. На этот раз свита Унрата ураганом пронеслась над маленьким приморским местечком. Унраты сняли меблированную виллу. Скромные добродетельные диваны они покрыли японскими вышивками, поставили на стол рулетку и разлили сект по стаканам с надписью: «Привет с Приморья». Проведя всю ночь за картами и всевозможными безумствами, новая «банда Унрата» отправлялась на берег любоваться восходом солнца; или, если было воскресенье, завтракала, слушая церковные гимны в исполнении курортного оркестра. Иногда ночи проводились вне дома. Благодаря влиянию денежных спутников актрисы Фрелих, двери давно

запертых приморских кафе и ресторанов открывались перед ней в любой момент, по ее желанию.

Она была неисчерпаема в своих выдумках. День и ночь гоняла она по всем направлениям свору своих обожателей; одному бросала палку, чтобы он принес ее обратно, другому — соблазнительную косточку: все это сопровождалось хитрым поблескиванием глаз в сторону потирающего руки Унрата. Каждого, состоявшего в ее свите, она подвергала испытанию. От одного жирного, розового человека она потребовала, чтобы он сразу же после обеда из шести блюд доплыл до песчаной отмели.

— Помилуйте, ведь вас хватит удар! — сказал один из наиболее благоразумных. А актриса Фрелих:

— Того, кто боится удара, мне вообще не нужно. Пусть убирается отсюда. Как ты думаешь, Унратик?

— Ну, конечно, — сказал Унрат. — Пусть убирается.

И он добавил:

— Ученик Якоби всегда был очень искусен в физических упражнениях. Так, уже после окончания школы он взобрался по стене, чтобы пустить из шланга струю кислого овечьего молока в окно класса в нижнем этаже, в котором я как раз занимался. Несколько дней под ряд не удавалось проветрить класс от вони. От такого, конечно, можно ждать, что он хороший пловец.

Эта речь имела большой успех, и среди всеобщего смеха молодой человек решился.

Когда он вышел из кабинки, все собрались на берегу и стали держать пари. Какой он жирный и розо-



вый! На полдороге к отдели его пришлось выудить в сопровождавшую его лодку; доставленный на берег, он еще долго лежал без сознания.

Попытки вернуть его к жизни вызвали у окружающих большое участие. Проигравшие первое пари хотели возместить убытки путем нового: выживет или умрет Якоби. Общее возбуждение заразило и дам; у кого-то началась истерика. Когда прошло четверть часа, а Якоби все еще не шевелился, некоторые притихли и улизнули. Унрат остался.

Он смотрел в безжизненное, бескровное лицо ученика Якоби и вспоминал его насмешливым и мятежным. Это они! Вот они лежат побежденные, окончательно сраженные! Более высокой победы, более строгого наказания не существует. Он почувствовал легкое сосание под ложечкой... Почва под его триумфальным шествием снова слегка заколебалась. Тиран на своей безумной вершине почувствовал головокружение...

Но Якоби открыл глаза.

С большим негодованием отзывались об этом происшествии оба гамбуржца, бразилец и господин из Лейпцига. Но это объяснялось личной обидой: на них больше не обращали никакого внимания. Они не могли понять, что произошло. Вместо, в общем, добродушной девчонки прошлого года они увидели какую-то артистку Фрелих, напустившую на себя нагло-позелительный вид признанной красавицы и пожинаящую лавры, словно она действительно была ею. А ведь она

вовсе не была красавицей! Друзья прошлого года находили этот обман смешным, но с каждым днем сами все больше ему поддавались. В первые дни бразилец еще пытался восстановить прежнюю интимность, но скоро научился робко томиться на почтительном расстоянии.

Ближе всех к цели были ассессор Кнуст и учитель Рихтер: они могли предложить больше других. Один был холостяком и самым желанным гостем во всех почтенных домах города, другой — помолвлен. Актриса Фрелих долго не могла сделать выбор. Кнуст был представительнее, но с Рихтером событие выигрывало в значении. Его невеста раздражала ее: только эта молодая особа осмелилась соперничать здесь, на курорте, с туалетами великой артистки Фрелих.

Она потребовала от Кнуста, чтобы он подошел к господину, имя которого ей случится назвать первым в следующую среду, и дал ему пощечину. Толстое, апоплектическое лицо Кнуста расплылось в улыбке, и он ответил, что он еще не сошел с ума. С ним у нее все кончено, заявила она тогда; тот, кто имеет на нее известные виды, должен быть ради нее на все способен, решительно на все.

Рихтер был способен на все, так измучило его женохство. И однажды, под звуки курзального оркестра, он прогалопировал в шумной кавалькаде, сидя на осле позади артистки Фрелих и пьяно за нее уцепившись, мимо распивающей кофе публики, в первых рядах которой сидела его невеста.

Сейчас же после ужина актриса Фрелих поднялась, взяла Унрата и Рихтера под руки и нежным воркующим

щим голоском объявила, что сегодня хочет рано лечь спать. Ее проводила до дому процессия с разноцветными бумажными фонариками; несколько человек пропели под ее окном серенаду. Когда все стихло, Унрат, уже полураздетый, позвал жену. Он думал, что она на балконе. Нет. Он искал и звал: он хотел вместе с ней поторжествовать. Ведь теперь свершилась судьба и коллеги Рихтера; над всей его будущностью самым отрадным образом нависла страшная угроза. Но в пустых комнатах его ликование растаяло, как дым. У него сжалось сердце.

Ведь он знал ее капризы; конечно, она снова пошла к морю. Он сел у решетчатой кровати ребенка и принялся отгонять от нее комаров.

Какой-нибудь простак опять позволяет в эту минуту артистке Фрелих строить из себя дурака и довольствуется некоторым количеством лунного сияния в обмен на свои браслетки и серебряные несессеры. Унрат лег в постель... но в глубине сознания, куда он предпочитал не заглядывать, он уже знал: спутник артистки Фрелих — Рихтер, и Рихтер в эту минуту не в дураках.

Он метался в постели до полуночи. Потом сбросил одеяло, оделся и вслух сказал себе, что нужно разбудить служанку и послать ее за людьми с фонарями; с артисткой Фрелих могло что-нибудь случиться. Он даже схватил свечу и направился в комнату девушки. Только поднявшись по лестнице, ведущей на чердак, стряхнул он с себя этот самообман, испуганно потушил свет, опасаясь, что он его выдаст, и ошупью пробрался обратно в спальню.

Облитая слабым лунным сиянием, предстала перед ним пустая кровать актрисы Фрелих. Унрат не спускал с нее глаз; его дыхание становилось все затрудненнее. Вдруг он съёжился и заскулил. Испугавшись собственного голоса, он забрался под одеяло. Через некоторое время он решил взять себя в руки и быть мужчиной. Оделся впопыхах и стал обдумывать, как он встретит артистку Фрелих. Он скажет ей: «Ну? Маленькая прогулка — именно, именно... Какое совпадение! У меня тоже не было ни малейшего желания спать и я только что вернулся». Целый час неутомимо носился он по комнате, заучивая эту речь. Вдруг у двери раздался легкий шорох, и, дико сорвав с себя одежду, Унрат бросился в постель. Судорожно сомкнув веки, прислушивался он к приглушенным шагам актрисы Фрелих, к вороватому шелесту ее спадающих юбок, к осторожному скрипу кровати, на которой она растянулась; потом до него донесся слабый вздох и знакомое милое всхрапывание.

Утром оба долго притворялись спящими. Наконец, актриса Фрелих решила зевнуть. Повернувшись к ней, Унрат увидел готовое заплакать, страдальческое личико. Она прижалась к его плечу и зарыдала.

Ах, если бы только Унратик знал! Не все идет так, как хочется, и по большей части с этим ничего не поделаешь.

— Пусть будет так, — сказал Унрат, утешая; и она зарыдала еще сильнее, потому что он был так невероятно кроток и принял ее дурацкую отговорку.

Весь день они просидели взаперти, и у актрисы Фрелих, вялой и неловкой, за что бы она ни взялась,

были широко раскрытые, полные нежных и сладостных воспоминаний глаза, от которых Унрат стыдливо отворачивался. Вечером пришли несколько членов «банды» и осведомились, известна ли им новость. Откуда? Ведь они никуда не выходили.

— Помолвка Рихтера расстроилась.

Взгляд актрисы Фрелих метнулся к Унрату.

— Человек погиб, — продолжал рассказчик. — Он страшно скомпрометирован. Что касается семьи его бывшей невесты, то он может быть спокоен, что они выставят его из гимназии. Они не желают, чтобы он оставался в городе, это было бы для них позором. Пусть поищет себе другое местожительство.

Актриса Фрелих видела, как вспыхнул и снова побледнел Унрат, как переминался он с ноги на ногу, как сплетал и расплетал пальцы; она видела, с какой жадностью втягивал он в себя воздух, как будто втягивал сладость этих слов, втягивал счастье. Он наслаждался и страдал. На этот раз ему пришлось заплатить за свой триумф; с нечистой совестью читала она на его лице те чувства, которыми он за него платил.

Наконец, он вышел из комнаты, и, найдя повод оставить гостей одних, она пошла за ним.

— Радуюсь? — спросила она с притворным недовольством. — Но ведь это подло радоваться чужому несчастью.

Стиснув руки, устремив отсутствующий взгляд на море, видневшееся в просветы между верхушками буков, сидел Унрат на балконе с таким выражением лица, как будто он исследовал бесконечные горизон-

ты, доступные только тому, кто прошел сквозь бездны, полные страшных мук. Смутно это почувствовав, актриса Фрелих принялась его утешать. Она сказала:

— Ничего же не случилось, Унратик. Главное, что человеку крышка. Ведь ты этого добивался.

И она вздохнула: мысленно возвращаясь к недавно пережитым мгновениям, она находила себя довольно неблагодарной по отношению к бедному Рихтеру. Как, собственно, все это произошло? Правда, он славный, веселый малый, но если бы не Кнуст, которого ей хотелось позлить, ничего бы не было. Ну, да что там! Совсем другое дело — Унрат. Иногда, глядя на него, становится прямо жутко. Как он опять сидит!

— Ведь мы вместе,— сказала она и протянула ему руку. Он взял ее, но сказал:

— Только одно незыблемо: тому, кто достиг сияющих вершин, хорошо знакомы и непроходимые бездны.

## XV

Их возвращения в город ждали с нетерпением. Холостяки в клубе говорили:

— Ну, слава богу, скоро скуке конец.

На следующий день после приезда они дали свой первый вечер, и весь город интересовался, кто на него пошел, что там ели, какие новые туалеты были на актрисе Фрелих. Скоро женатые купцы стали получать по вечерам неожиданные известия: что-то

случилось в порту, в конторе ждут неотложные дела, и они поспешно исчезали.

Некоторые держались в стороне; одни по моральным убеждениям, другие вследствие холодного темперамента, третьи из бережливости. Зевая, сидели они среди пустых кресел казино и «Общества единомыслящих», возмущались поначалу, а по мере того, как их число таяло, приходили в замешательство. Самые последние чувствовали себя одураченными и несправедливо обойденными.

Городской театр продолжал свое существование только благодаря пособиям. В городе не было ни одного достойного внимания варьетэ. Пять или шесть дам полусвета, обслуживающих избранную клиентуру, надоели до отвращения, и радости, которые они могли предложить, казались пресными при мысли о доме Унрата и о его хозяйке.

В этом допотопном городе, в котором не было выхода из скуки семейной респектабельности иначе, как в грубый и скучный разврат, «вилла у ворот», в которой крупно играли, изысканно пили, встречались с женщинами—не в полном смысле проститутками, но и не настоящими дамами, где хозяйка дома, замужняя женщина, жена профессора Унрата, пикантно пела, непристойно танцевала и, при известных обстоятельствах, не отказывалась и пошалить,—эта удивительная вилла у ворот окутывалась в представлении горожан сказочным светом, серебристо-трепетной атмосферой, окружающей волшебные замки. Разве не чудо, что существует подобное! Ничего не поделаешь, все вечера были наполнены мыслями о доме Унрата.

Увидев проشمыгнувшего за угол знакомого, услышав бой часов, горожане думали: «Теперь там начинается». Укладывались в постель усталые и, не понимая, откуда эта усталость, вздыхали: «Теперь там веселье в полном разгаре».

Правда, были и такие, очень, впрочем, немногие, кто, подобно консулу Ломану, проведшему свою молодость за границей, бывшему в Гамбурге, как дома, и время от времени наезжавшему в Лондон и Париж, не проявляли ни малейшего любопытства к приемам старого, выжившего из ума учителя и его молоденькой жены. Зато купцы-толстосумы, торговавшие рыбой и маслом, тридцать лет гонявшие все по тем же пяти улицам, внезапно увидели открывшуюся перед ними возможность дать своим деньгам новое применение, сулящее сказочные удовольствия. Награда за труд казалась им ослепительной, и они уразумели, наконец, зачем жили. Другие, проживавшие когда-то в столице и желавшие тряхнуть стариной, как, например, консул Бретпот, уговаривали себя поначалу, что излишняя разборчивость тут не к месту, а потом втягивались и развлекались во-всю, махнув рукой на всякие сравнения, решив довольствоваться тем, что есть. Бывших студентов приводили сюда сентиментальные воспоминания о дамах из кабачков, которые они посещали в лучшие свои годы: это — судьи, участвовавшие в процессе о повреждении кургана, и пастор Квитиенс. Потому что и пастор Квитиенс был тут, не хуже всякого иного смертного. А мелкие людишки вроде арендатора кафе «Централь» или владельца табачного магазина на рынке чувствовали



себя польщенными и поднятыми на более высокую социальную ступень этим, только в доме Унрата возможным общением с верхушками общества. Представляя большинство, эта мелкота задавала тон.

Тон этот был примитивен. Он был плох уже потому, что был примитивен. Все эти люди пребывали в ожидании особенных, двусмысленных утонченностей, какого-то неслыханного промежуточного состояния, когда любовь не сразу получает голое удовлетворение и все-таки не испытываешь скуки. И именно их присутствие придавало всему определенный смысл. Когда они не были добродетельны, как в своих семьях, они могли быть только вульгарны, как в публичных домах. Иначе вести себя они не умели. Если кто из них вначале и старался держаться прилично, то, выпив, немного забывшись, почувствовав себя уютно, он сразу же терял нить разговора, говорил непристойности, называл дам на ты и затевал ссоры. На дам все это действовало разлагающе. Они привыкали к бесцеремонности в развлечениях. Пилеман была неузнаваема; она дошла до того, что, пробыв с кем-то из гостей полчаса в запертой комнате, разрешила подвыпившей компании мужчин с барабанным боем проводить ее в комнату, где происходила карточная игра. Актриса Фрелих вынуждена была признать, что в прошлом году Пилеман еще была на это не способна.

Сама она, актриса Фрелих, продолжала в известной мере соблюдать внешние приличия. Разумелось само собой, что она имела дело только с самыми избранными, возможно, с консулом Бретпотом, а, мо-

жет быть, и с ассессором Кнустом; достоверно ничего не было известно: у ней в доме никогда ничего не замечали. Актриса Фрелих обставляла свои измены всеми предосторожностями и церемониями настоящей замужней женщины: двойные вуали, занавешенные окна экипажа, загородные свидания. Этот этикет повышал ее в ранге, и никто не осмелился бы спутать ее с другими дамами. К тому же никогда не было в точности известно, кто является в настоящее время ее покровителем и что можно было себе по отношению к нему позволить. Приходилось считаться и с тем, что и сам Унрат не был расположен что-либо терпеть. Однажды, будучи в наилучшем настроении, он внезапно набросился на господина, случайно уронившего за его спиной замечание насчет хозяйки дома. Унрат шипел и пыхтел, не слушал никаких оправданий, и после ожесточенной схватки вытолкал большого грузного человека за дверь; несчастный был изгнан навсегда. А он был крупным игроком, и сказанное им об актрисе Фрелих было, несомненно, самым безобидным из того, что о ней можно было сказать. Все знали, чего следовало ждать от Унрата, когда дело касалось актрисы Фрелих, и остерегались.

В остальном — мог итти дым коромыслом: Унрат не возражал. Он потирал руки, когда кто-нибудь, отнюдь не он сам, срывал банк и кругом возникали ошеломленные, измученные алчностью, покрытые испариной и растерянные лица с бессмысленно уставившимися в пространство глазами. С удовольствием смотрел на напившихся до бесчувствия, с непроницаемым издевательством давал советы окончательно

проигравшимся, злорадно усмеялся, когда ловили на месте преступления какую-нибудь парочку, и испытывал самые радостные мгновения, когда кто-нибудь бывал обесчещен.

Молодой человек из хорошей семьи попался в шулерстве, и Унрат настоял, чтобы его не выгоняли. Высоко вздыбились волны нравственного возмущения, некоторые из протестантов демонстративно удалились. На второй или третий вечер они опять явились, и, ядовито усмехаясь, Унрат предложил им сыграть партию с молодым шулером.

Другой случай был еще драматичнее. У одного игрока пропала лежавшая перед ним на столе пачка банковых билетов. Подняв крик, он потребовал запереть все двери и обыскать присутствующих. Публика возмутилась; все осыпали друг друга оскорблениями, потерпевшего грозили избить, и в течение пяти минут были заподозрены все без исключения. Тогда, неведомо откуда, покрывая всеобщий шум, прозвучал, словно из гроба, голос Унрата. Он объявил, что назовет тех, кого следует обыскать; согласны ли ему подчиниться? Это возбудило любопытство, и так как каждый желал показать себя выше подозрений, то все закричали: да! И дергая шеей, Унрат назвал лейтенанта фон Гиршке, ученика Кизелака и консула Бретпота. «Бретпота? Бретпота?» Да, да, именно Бретпота. Унрат настаивал, не давая никаких объяснений... И Гиршке, офицера? Это ровно ничего не значит,— уверял Унрат. А бешено защищавшемуся лейтенанту он сказал:

— Масса против вас, и она вас обезоружит. Если

у вас отберут шпагу, вы будете обесчещены, и у вас ничего не останется, кроме револьвера, которым вы — конечно, значит — лишите себя жизни. Поэтому — поистине право — вам будет много приятнее дать себя обыскать.

Поставленный перед такой дилеммой, Гиршке сдался. У Унрата не было на него ни малейшего подозрения. Он просто хотел втоптать в грязь его гордость. Впрочем, в этот момент поймали Кизелака, пытавшегося выбросить за окно пачку банковых билетов. Консул Бретпот немедленно потребовал у Унрата объяснений. Но, приблизив свое лицо к лицу консула, тот, неслышно для других, шепнул ему имя, только одно имя; и Бретпот мгновенно утихомирился... На следующий день он пришел опять и весь вечер играл. Фон Гиршке не показывался восемь дней. Кизелак появился еще один-единственный раз и кое-что проиграл. После этого в таможенную контору, где он занимал маленькую должность, явилась его бабушка и заявила, что внук ее обокрал. Наконец-то нашелся повод для его увольнения! Из-за скандала за карточной игрой на это не решились. Ученик Кизелак погрузился на дно, и Унрат торжественно это про себя отпраздновал.

Он наслаждался сдержанно и коварно. В сумятице людей, взапуски несущихся к банкротству, позору, виселице, Унрат, невозмутимый, с подгибающимися коленями, казался старым учителем, следящим из-за очков за впавшим в бешеное неистовство классом

и запоминающим фамилии бунтовщиков, чтобы впоследствии испортить им аттестации. Они осмеливались восставать против его власти; пусть же теперь, вырвавшись на свободу, они свернут друг другу шеи и переломают ребра. Тиран окончательно превратился в анархиста.

Он производил впечатление человека, гордящегося своим новым положением, и питал явное пристрастие к теперешнему юношескому цвету своего лица. Двадцать раз за вечер вынимал он карманное зеркальце, вправленное в маленькую коробочку с надписью «bellet».

Среди ночного шума, сумасшедшей сутолоки и мишуры он часто вспоминал свои прежние ночи. Вот его высмеяли в кафе «Централь», и он плетется домой. Из темного угла в него, как ком грязи, швыряют его имя... За всю его жизнь была только одна единственная ночь, когда он нуждался в людях. Они должны были ему сказать, кто такая актриса Фрелих, где ее найти, и — что всего важнее — как помешать ее сближению с тремя учениками, из коих Ломан был самый отъявленный. Но никто ничего не сказал ему. Ничего он не видел, кроме лиц, широко скаливших зубы из-под слишком крепко сидевших на голове шляп. И вот он вынужден подскакивать, лавируя между несущимися вниз с крутизны тележками, и его оглушают звонкие детские голоса, выкрикивающие его имя. Проходя мимо освещенных магазинов, он не решается заговорить ни с одним бунтовщиком. Он пробирается вдоль домов — домов, скрывающих пятьдесят тысяч мятежных учеников, с чувством напряжения в темени, потому что в любой момент из лю-

бого окна на него может обрушиться его имя, как выплеснутый на голову ушат помоев. В самый конец тихой улочки, далеко вниз, к приюту престарелых девственниц, спасается он от терзающих нервы преследований, подозрений, издевательств; летучая мышь описывает крути над его шляпой, и даже здесь, даже здесь ждет он, что прозвучит его имя.

Его имя! Теперь он сам себя так называет и носит это имя, как венок победителя. Однажды он похлопал одного обобранного гостя по плечу и сказал:

— Да, да, я настоящий унрат.

Его ночи! Вот каковы они теперь!

Его дом освещен ярче всех домов в городе, он значительнее всех домов, в нем вершится множество людских судеб. Сколько страха, алчности, раболепия, фанатической страсти к самоистреблению разжигает Унрат вокруг себя. Все эти жертвы приносятся ему. Все жаждут поджечь для него жертвенный костер, подвергнуть себя самоожжению. Их приводит сюда пустота их голов, тупоумие людей, не получивших классического образования, их вздорное любопытство, их неумело прикрытая моралью похоть, их алчность, скотство, тщеславие и ко всему этому сплетение сотен интересов. Разве не кредиторы Унрата понавели к нему родственников, друзей, клиентов с намерением помочь ему, их должнику, раздобыть денег? Разве не корыстолюбивые жены посылают к нему своих мужей, чтобы они получили свою долю легкой наживы? Некоторые приходят сами. Говорят, что под масками на карнавале в доме Унрата скрывались приличные женщины. Были замечены мужчины,

с затаенным подозрением разыскивающие своих жен. Молодые девушки тайком передавали друг другу, что их матери зачастили по вечерам в «виллу у ворот», и напевали вполголоса отрывки из песенок актрисы Фрелих. Эти песенки порхали по городу. Тайственная игра в фанты, во время которой пары ложатся на пол и покрываются одеялами, проникла в почтенные семьи; в нее играли, когда к взрослым дочерям приглашали в дом молодых танцоров; весь город хихикал по поводу «виллы у ворот».

Еще не наступило лето, а три дамы из хорошего общества и две молодые девушки выехали, — преждевременно, как находили, — на дачу. Обанкротилось три торговых учреждения. Владелец табачной лавки на рынке, Майер, был уличен в подделке векселей и повесился. О консуле Бретпоте шушукались.

И эта деморализация целого города, которой никто не пытался положить конец, потому что слишком многие были тут замешаны, она шла от Унрата и творилась ради его триумфа. Тайно его потрясавшей страсти, страсти, которую его иссохшее существо изредка выдавало ядовито-зеленым поблескиванием глаз и слабой усмешкой, — ей, этой страсти, потворствовал и подчинялся весь город. Унрат был силен, он мог бы быть счастлив.

## XVI

И он был бы счастлив, если бы был еще сильнее, если бы в критический момент своего бытия, сущностью которого было человеконенавистничество, он не пре-

дался актрисе Фрелих. Она была оборотной стороной его страсти, она должна была получать все в той же мере, в какой другие все теряли. И чем больше все остальные заслуживали гибели, тем в больших заботах и внимании нуждалась актриса Фрелих. На нее перенеслась вся болезненная нежность этого врага человеческого рода. Это было очень плохо для Унрата, и он это сознавал. Он говорил себе, что артистка Фрелих должна быть только средством для того, чтобы «словить» и «посадить» учеников. Вместо этого она стала рядом с ним на головокружительную высоту, недостигаемая и священная перед лицом человечества, и он был вынужден любить ее и страдать от своей любви, протестующей против служения ненависти. Любовь Унрата была посвящена защите артистки Фрелих и шла ради нее на разбой; это была настоящая мужская любовь. И все-таки даже эта любовь привела в конце концов к слабости.

Случалось, что при ее возвращении домой он прятался и не показывался до вечера. Она вела с ним переговоры через дверь нежным, немного жалостливым голоском. Но он отказывался даже от еды. Ему нужно заниматься научной работой. Она дружески его предостерегала — этак и заболеть недолго, — и, наконец, со вздохом решала переждать, пока приступ пройдет. Вероятно, он опять обследовал ее гардероб и рылся в ее грязном белье. Может быть, он нашел сегодня утром записку? В таких случаях он внезапно начинал дурить, не мог смотреть на нее, когда она



возвращалась вся измятая, краснел от стыда, отворачивался и, наконец, исчезал. Все это ее очень нервировало, но серьезно, по-настоящему, глубоко серьезно она не могла к этому относиться. Для этого она сама слишком много играла. Играла, во-первых, замужнюю женщину. Как она тогда на улице подошла к своему старенькому Унрату свою Мими; вот это было действительно здорово, не мало она тогда пережила! А потом вся эта возня с мужчинами, всевозможные глупости, пока еще дойдет до серьезного, постоянная ложь, бесконечный страх, чтобы кто-нибудь не проговорился в присутствии Унрата, который, конечно, прекрасно все знал. Она была ему прямо-таки благодарна, что он участвовал в этой комедии и придавал такое значение ее ежедневным маленьким похождениям. Ведь это вносило жизнь в их брак! Смешно только, что он никак не мог к этому привыкнуть.

А ведь ему все это было гораздо важнее, чем ей. Иногда он вел себя, как сумасшедший, ему просто не терпелось кого-нибудь уничтожить. Вот вынь да подай! «Рекомендую твоему вниманию ученика Фермолена. Направь все свое внимание на — именно, именно — ученика Фермолена». Что это могло значить, скажите на милость! Неужели же еще надо спрашивать? А как страстно желал он, чтобы она как можно скорее справилась с консулом Бретпот!

И актриса Фрелих пожимала плечами.

А Унрата, которого она не понимала, уносили потоки страсти, неудержимые, как звездопад. Его лю-

бовь, которую он был вынужден ежедневно терзать, чтобы насытить свою ненависть, превращала эту ненависть во все более сумасшедшую лихорадку. Любовь и ненависть, переплетаясь, делали друг друга жуткими, безумными, страшными. Унрата преследовали жгучие видения погубленного, молящего о пощаде человечества; этого города, разрушенного и пустынного; потоков крови и золота, превращающихся в серый пепел всеобщей гибели.

Потом к нему возвращалась старая галлюцинация: актрису Фрелих любят другие. Видения чужих объятий душили его; но у всех мужчин было лицо Ломана. Самое скверное, самое ненавистное, что могло случиться с Унратом, было раз навсегда заключено в черты Ломана, этого ученика, которого невозможно было «словить», которого не было даже больше в городе.

После такого приступа бессильной подавленности Унрат проникался состраданием к себе и актрисе Фрелих. Утешая ее, он обещал, что скоро они будут иметь достаточно для того, чтобы покинуть этот город и наслаждаться тем, что «она по праву от них получила».

— А как ты думаешь, сколько это? — протестующе спросила она его как-то. — Ты замечаешь только то, что мы получаем, а ведь то, что они отбирают, — тоже не пустяк. Нашу мебель они отобрали, неправда ли? А, может быть, ты думаешь, что за ту, что у нас сейчас стоит, мы сделали хоть один взнос? Ты дьявольски ошибаешься, если так думаешь. Нам

принадлежат здесь только диванная подушка и рамка от старой картины, больше ничего.

Она была в свирепом настроении; измученная возней с мужчинами, она уже не видела в своей жизни ничего привлекательного и мстила тому, кто был ей ближе всех. Унрат отнесся к этому с потрясающей серьезностью.

— Мой долг позаботиться о твоём благе. Я не расположен показать себя недостойным этого... Они мне за это заплатят! — шипя, добавил он. Но она не слушала его и, ломая руки, раздраженно металась по комнате.

— Надеюсь, ты не воображаешь, что я веду эту идиотскую жизнь ради твоего удовольствия и для того, чтобы ты мог разделаться со своими мужчинками! Нет, если бы не Мими... Но я должна зарабатывать для Мими, чтобы Мими жилось иначе, чем ее маме. Ах, господи...!

Приносился ребенок в белой ночной рубашечке, и проливались потоки слез. Унрат беспомощно опускал голову и руки. Потом его отсылали, актриса Фрелих ложилась в постель. Но к приходу гостей она уже снова была во всеоружии и старалась загладить свою вину перед Унратом. Она была нежной и дружественной, то-и-дело шептала ему что-то на ухо, чтобы все видели, что он попрежнему для нее важнее всех, смеялась вместе с ним над теми, кого он мог заподозрить в близких с ней отношениях, обволакивая и обманывая его лаской, как будто ничего серьезного и не бывало. Да, в течение такого часа он был недалеко от безумной иллюзии, что достиг всех своих

успехов, ничем за них не заплатив. Конечно, он в это не верил, но убеждал себя, что нет оснований не верить и нет доказательств противного. Так счастлив был он этой переменной после перенесенных мук.

В ясный весенний день, первый ясный день после длительных душевных терзаний, Унрат и актриса Фрелих прогуливались вместе по городу. Унрат утешался сознанием, что, в конце концов, они все-таки союзники, лучшие, единственные. Актриса Фрелих, отказавшаяся вместе с уроками греческого языка и от честолюбивых попыток полюбить его, черпала самоуважение и хорошее настроение в своем искреннем дружеском расположении к нему. Поэтому они только посмеялись над господином Дрэге, владельцем бакалейной лавки на углу их улицы, который, распахнув двери, грозил им кулаками. При виде их торговка фруктами тоже вышла из себя. Она даже подстрекала господина Дрэге направить на проходившего Унрата свой водяной шланг. Каждое появление четы Унрат на улице сопровождалось подобными инцидентами. Они задолжали всему свету, хотя расточительно швырялись деньгами; и больше всех шумели поставщики, не предоставившие, а навязавшие им кредит. Всегда бывало так, что выписанные из Парижа туалеты оплачивались вперед и что съеденные ими в прошлом месяце булочки никогда не принадлежали им по праву. При этом актриса Фрелих воображала, что экономит для своего ребенка, а Унрат — что грабит для актрисы Фрелих. Когда приходил судебный ис-

полнитель — приходил совершенно безрезультатно — в вилле царили уныние, смятение и ярость. Кто же мог думать, что он так скоро опять явится? Актриса Фрелих давно запуталась в счетах и долговых обязательствах, а Унрат все стремился причинять убытки другим, а не поддерживать собственное благосостояние. Распространяемое ими вокруг себя гниение перекинулось на их собственные дела. Обманутые и загнанные в тупик, они пробивались плутовством, питая эфемерную надежду на фантастически крупный выигрыш и на постепенное вымирение кредиторов. Втайне они чувствовали, как колеблется под ними почва, и старались прежде, чем их сметет, причинить окружающим как можно больше зла.

На Зибенбергштрассе им пришлось выдержать столкновение с мебельщиком, утверждавшим, что они перепродали часть еще неоплаченной мебели, и грозившим судом. Ядовито усмехаясь, Унрат предложил ему притти и посмотреть. Актриса Фрелих сказала:

— Только не обольщайтесь надеждами. Ничего вы этим не добьетесь, мы не так глупы.

В этот момент около них раздался звон сабли. Она повернула голову и тотчас же отвела глаза. Чей-то голос хрипло сказал:

— Чорт побери!

И другой, с небрежным изумлением:

— Действительно!

Актриса Фрелих уже не слушала, что говорил мебельщик. Через несколько минут она двинулась дальше. Она шла словно оглушенная. Только подойдя к кондитерской Мумма, она обратила внимание на то,

что и Унрат не проронил ни слова. Почувствовав нечто вроде угрызений совести, она начала невинно болтать, ощущая потребность успокоить его после того, что они только что увидели. Унрат внезапно тоже проявил взволнованную предупредительность и пригласил ее зайти в кондитерскую. Пока он делал заказ у буфета, она прошла в соседнюю комнату. Вдруг раздался стук в окно. Актриса Фрелих не решилась взглянуть; она знала: это опять фон Эрцум и Ломан.

Унрат не успокоился даже вечером. Он торопливо сновал среди гостей, отпускал замечания, полные злобной и дикой иронии, бормотал «я настоящий унрат» и объяснял:

— Мне не принадлежит здесь — поистине право — ничего, кроме диванной подушки и рамки вон той картины.

Когда актриса Фрелих забежала на минутку в спальню, он последовал за ней и объявил:

— Ученик Бретпот в ближайшем будущем достигнет, наконец, цели класса.

— Готов? — спросила она. — Нет еще, Унратик. Он опять весь набит кредитками.

— Пусть будет так, как ты говоришь. Но глубочайшего внимания заслуживает вопрос: откуда берутся эти кредитки.

— Ну?

Он приблизился со странной, застывшей улыбкой на лице, как бы трепещущей под покрывалом.

— Я знаю, я подкупил его кассира. Эти деньги Бретпот крадет у опекаемого им фон Эрцума.

И видя актрису Фрелих остоленевшей от изумления:

— Стоит еще жить на свете! Не правда ли? Итак, это второй из трех. Ученик Кизелака повержен в прах. Ученик фон Эрцум на-днях с треском грохнется. Остается еще только третий.

Она не выдержала его взгляда.

— Да о ком ты говоришь?—спросила она в страшном смятении.

— Третьего еще надо «словить». Он должен быть схвачен и будет схвачен!

— Кто же это? — сказала она, робко подняв глаза. И вызывающе:—Вероятно ты говоришь о том, кого терпеть не можешь и на кого я даже смотреть не смею, когда он проходит по улице. Даже и этого ты не выносишь.

Он опустил голову и тяжело задышал, мучительно борясь с собой.

— Правда, я не расположен,— глухо сказал он... и все-таки этот ученик должен... должен быть схвачен.

— Что за глаза ты делаешь? И вообще у тебя жар,— Унратик, послушай-ка, ложись в постель и пропотей хорошенько. Я сварю тебе настой из ромашки. Такое идиотское волнение может перекинуться на желудок, а потом... крышка! Ты слышишь? Я серьезно боюсь, что случится несчастье.

— Но Унрат не слушал. Он сказал:

— Но не ты... не ты... должна его словить.

Он произнес это с какой-то страшной, новой для

нее мольбой, наполнившей ее жутким волнением и зловещим предчувствием, как отчаянный стук ночью в дверь ее комнаты.

## XVII

На следующее утро актриса Фрелих долго придумывала себе какое-нибудь дело в городе и, придумав, вышла на улицу. Она потратила на туалет два с половиной часа и по дороге косилась на свое отражение в каждой витрине. Лихорадка ожидания подхлестывала ее. В начале Зибенбергштрассе она остановилась перед книжным магазином Редлина, — никогда еще не останавливалась она перед книжными магазинами, — наклонила голову над витриной и почувствовала жуткое щекотание в спине, как будто ее сейчас кто-то схватит. И вдруг сзади раздался толос.

— Сударыня! Вот мы с вами и встретились!

Оборачиваясь, она старалась придать своим движениям грациозную сдержанность.

— Ах, господин Ломан? Снова в наших краях?

— Да, если вы ничего не имеете против.

— Почему же..? Но где же вы оставили своего друга?

— Вы говорите о графе Эрцуме? Ну, у него своя дорога. Но не пройдемся ли мы немного, сударыня?

— Вот как? Чем же занимается ваш друг?

— Он юнкер, сударыня. В настоящее время он здесь, в отпуску.

— Да не может быть! И все такой же славный?

Чертовски обидно, что Ломан совершенно невозму-



тим, хотя она все время интересуется только его другом. У нее даже появилось ощущение, что он насмехается над ней. Это ощущение бывало у нее и в «Голубом ангеле» при разговорах с Ломаном, и только с ним одним. Ее обдало жаром. Ломан предложил ей зайти в кондитерскую. Она раздраженно ответила:

— Ступайте один. Мне нужно идти дальше.

— Для зорких глаз провинциалов мы, пожалуй, слишком долго стоим на этом углу, сударыня.

И он распахнул перед ней дверь. Она вздохнула и вошла, шурша юбками. Он слегка отстал от нее и еще раз подивился, как выгодно обрисовывается ее длинная талия, как хорошо она причесана, как волочит свой шлейф. Как она изменилась! Он заказал шоколад.

— За это время вы стали здесь известной личностью?

— Более или менее,—ответила она и, меняя тему:— А вы? Что вы, собственно говоря, делали? Где пропадали?

Он охотно начал рассказывать. Некоторое время он учился в торговой школе в Брюсселе, а потом работал практикантом в Англии, у одного из деловых друзей его отца.

— Вероятно, повеселились на славу? —спросила она.

— Нет. Это не по мне,—сказал он жестко, даже презрительно, с знакомой ей театральной мимикой. Она смотрела на него сбоку, с робким уважением. Он был одет во все черное и не снял с головы круглой черной шляпы. Его лицо еще немножко пожел-

тело и заострилось; он был гладко выбрит, его взгляд из-под полуопущенных темных и странно треугольных век был устремлен неведомо куда. Она хотела заставить его взглянуть на себя. Кроме того, ей страстно хотелось посмотреть, сохранил ли он свой вихор.

— Почему вы не снимаете шляпы? — спросила она.

— Вы правы, сударыня,— и он повиновался.

Так и есть. Его волосы попрежнему вихрем вздымались на голове и ниспадали локоном на лоб. Наконец, он внимательно посмотрел на нее.

— В «Голубом ангеле» вы не придавали такого значения правилам обхождения, сударыня. Как люди меняются! Как все мы меняемся! И всего только за каких-нибудь два с половиной года.

Он снова отвернулся и так явно задумался над чем-то совсем другим, что она не решалась промолвить ни слова, хотя его замечание ее немного задело. Но, может быть, он даже не ее имел в виду! Так это, во всяком случае, прозвучало.

Ломан имел в виду фрау Дору Бретпот и думал о том, что нашел ее совсем, совсем не похожей на тот образ, который он унес в своем сердце. Он любил в ней светскую даму. Ведь она была первой дамой в городе. Она как-то познакомилась в Швейцарии с английской герцогиней, и это знакомство оставило на ней отблеск своей благодати. В сущности, она представляла в городе герцогиню. В том, что английская знать — первая в мире, здесь никто не смел сомневаться. Позже, во время ее поездки на юг Германии, за ней ухаживал ротмистр из Праги; с тех пор австрийская аристократия заняла место рядом с ан-

глийской... Как мог Ломан поддаться всему этому! Это просто поразительно! И поразительнее всего, что с тех пор не прошло еще и двух лет. Вернувшись в город, он нашел его съезжившимся, как будто он был из резины. Дом Бретпота стал наполовину меньше, и в нем сидела ничтожная провинциальная дамочка, многим больше, чем провинциальная дамочка. Конечно, у нее все еще была головка креолки, точно выгравированная на медали, но уста этой женщины произносили вульгарные выражения местного наречия! Прошлогодняя мода, и то неправильно понятая. И что еще хуже: претензии на индивидуализм «артистической натуры»; и приветственная беседа с возвратившимся из далеких краев, как будто он привез ей оттуда множество поклонов; и раздражающее позерство «непонятой личности». Как только это все не возмущало его раньше? Правда, тогда она едва ли подарила его хотя бы словом, вряд ли даже замечала его. Он был всего лишь школьником. Но теперь он стал мужчиной, с ним кокетничают, его пытаются завербовать в «кружок», группирующийся вокруг собственной маленькой персоны... Ломан был полон горечи. Он думал о старом ружье, всегда лежавшем наготове, всерьез наготове, на случай, если бы тайна его открылась. Он и сейчас еще испытывал меланхолическую гордость, вспоминая мальчишескую страсть, которую он пронес через всю свою юность, несмотря на стыд, несмотря на смехотворность всего этого и даже на легкое отвращение, несмотря на Кнуста, фон Гиршке и других, несмотря на многочисленное потомство любимой женщины. Как он це-

ловал дверь ее дома в ночь ее последних родов! Это чего-нибудь да стоило! Этим и сейчас еще можно жить! И он увидел, что был тогда много лучше, много богаче. (Как мог он в это время чувствовать усталость! Вот теперь он действительно устал.) Лучшее, что он мог отдать за всю свою жизнь, получила эта женщина, даже не подозревавшая об этом. Теперь, когда он опустошен, она его домогается. Ломан любил вещи, главным образом, за те отголоски, которые они рождают в сознании, любовь женщин ради следующего за ней горького одиночества, счастье ради остающегося после него удушья тоски. Он с трудом переносил мысль об этой ничтожной дамочке-снобе, лишенной и тени обаяния, потому что ее образ искажал его печаль о пережитом. Он все ставил ей в вину: даже заметные в ее салоне следы упадка, еще не коснувшегося ее особы. Он знал о плохом положении дел Бретпота. Какой нежностью он окутал бы ее в то время, если бы она очутилась в таком положении. Но теперь он равнодушно смотрел, как ее попытки сохранить изящество разбиваются о растущую нужду, и заранее стыдился того лишнего достоинства чванства, с которым она будет скрывать и отрицать свою бедность. Он чувствовал себя оскорбленным, когда смотрел на нее, оскорбленным и униженным, когда понимал, что происходит в нем самом. Что делает с человеком жизнь! Он пал. Она пала. Уходя от нее, он до жути остро ощутил стремительный полет лет и понял, что здесь захлопывается дверь за любовью, такой же большой, как юность.

Это было утром, на следующий же день после его

приезда. И сразу же после этого ему попался Эрцум, потом им обоим на Зибенбергштрассе Унраты. В таком захолустьи это было неизбежно. Как ни мало пробыл Ломан в городе, он уже слышал об Унрате, и его подвиги оживили его пристрастие к человеческим странностям. Он установил, что в Унрате осуществилось все, что два года назад в нем только намечалось, скорее даже больше этого. Но еще великопнее развернулась актриса Фрелих. От певички «Голубого ангела» до куртизанки высшего полета! Потому что на первый взгляд она действительно казалась ею. Только при более пристальном наблюдении проскальзывала ее мещанская сущность. Во всяком случае, тут было сделано все, что только возможно.

И множество поклонов на пути этой четы! И пресмыкающаяся похоть всюду, куда бы ни донесся аромат духов артистки Фрелих! Между нею и ее публикой, городом, совершенно очевидно, имело место своего рода обоюдное надувательство. Она корчила из себя признанную красавицу, постепенно действительно была признана ею и сама тогда в это поверила. Очевидно, нечто подобное же произошло в свое время с Дорой Бретпот и ее претензией на светский шик. Ломан подумал, что если он теперь займется актрисой Фрелих, это будет не лишено пикантной иронии. Он вспомнил то время, когда сочинял стихи о них обеих, когда, желая отомстить за свои страдания, хотел унижить Дору Бретпот, и, храня ее образ в сердце, броситься в объятия другой, придав ее ласкам привкус мрачного порока. Порока? Теперь,

никого не любя, он уже не понимал, что такое порок! И озлобленность его сердца против Доры Бретпот не послужит на пользу фрау Унрат. Нет, ничто не шевельнется в его душе, если он пройдет вместе с ней мимо дома консула Бретпота. Он просто проведет элегантную кокетку по городу, лишенному божества.

Эрцума лучше не брать с собой. Увидев девочку, Эрцум начал бестолково бряцать саблей, и голос у него совсем охрип. Он того и гляди опять примется за свои тяжеловесные переживания. Для Эрцума всегда все было в настоящем, тогда как, сидя утром в пустой кондитерской подле актрисы Фрелих, Ломан прихлебывал из своего не пустеющего стаканчика только туманный отголосок былых настроений.

— Налить вам немного коньяку в шоколад? Рекомендую.

И:

— Чего только ни приходится слышать о вас, сударыня!

— А что такое? — настороженно спросила она.

— Ну, например, что вы и наш старый Унрат перевернули вверх дном весь город и сеете вокруг себя неисчислимые бедствия.

— Ах, вот что! Ну да, делаешь, что можешь. Люди у нас веселятся... хотя я и не хочу хвалить себя, как хозяйку дома.

— Да, так говорят. И никто не понимает побудительных причин Унрата. Думают, что карточная игра служит ему средством к существованию. Но я думаю иначе. Ведь мы двое, сударыня, знаем его лучше.

Смутившись, актриса Фрелих молчала.

— Он тот тиран, который скорее погибнет, чем примирится с ограничением своей власти. Насмешливый выкрик,— и даже ночью проникнет он под пурпурный балдахин над его кроватью, пронзит его сон и покроет кожу синими пятнами, смыть которые он сможет только кровавой баней. Он изобретатель понятия «оскорбление его величества»: не опоздай он, он непременно изобрел бы его. С какой бы сумасшедшей покорностью ни подчинился ему человек, он все равно возненавидит его, как бунтовщика. Человеконенавистничество превратилось в нем в гложущую муку. Одно то, что человеческие легкие вдыхают и выдыхают воздух без его разрешения, вызывает в нем жажду мести и напрягает его нервы до последнего предела. Достаточно толчка извне, случайного стечения обстоятельств, как, например, эта история с повреждением кургана, и всего, что с ней связано; достаточно сильного импульса для проявлений его склонностей и задатков — например, женщины — и охваченный паникой тиран призывает во дворец чернь, ведет ее на поджоги и убийства, провозглашает анархию!

Актриса Фрелих сидела с разинутым ртом, что очень понравилось Ломану. Он всегда беседовал с этими дамами в таком стиле, что им ничего не оставалось, как разинуть рот. Впрочем, он скептически улыбнулся. Он полагал, что лишь заостряет некую абстрактную возможность, и вовсе не собирался рассказывать историю старого смешного Унрата. Ведь он все еще смотрел на него из перспективы сидящего

перед кафедрой, и ему было трудно реально представить себе в роли сеющего ужас чудовища того, кто диктовал ему нелепости об Орлеанской деве.

— Я питаю глубокую симпатию к вашему супругу,— улыбаясь, добавил Ломан, чем окончательно привел ее в замешательство.

— Ваш дом действительно повсюду превозносят, — сказал он еще.

— Ну да, мы устроились прямо божественно. И вообще... — Она оживилась от тщеславия.

— ...мы ничего не жалеем для наших гостей. Иногда у нас прямо на головах ходят, вот бы вы посмеялись. Ах, если бы вы пришли, в вашу честь я бы спела песенку об обезьяньей самке, вообще-то я этого не делаю, потому что она все-таки немножко чересчур рискованная.

— Вы неотразимы, сударыня!

— Видно, вам опять угодно насмеяться?

— Вы меня переоцениваете. С тех пор как я вас снова увидел, у меня пропало всякое желание шутить. Ведь не можете же вы не знать, сударыня, что вы единственное, что в этом городе заслуживает внимания.

— Ну, и что же? — спросила она удовлетворенно, но без малейшего удивления.

— Чего стоит один ваш туалет. Ваше суконное платье цвета резеды безупречно. Черная шляпка к нему выбрана с большим вкусом. Если мне будет разрешено сделать одно-единственное замечание: ленты из point-lacé в этом году больше не носят.

— Ах, неужели?



И она придвинулась.

— Вы, наверное, знаете? Значит, этот паршивец меня все-таки надул. Хорошо, что за них не заплачено. Покраснев, быстро:

— Заплатить я, конечно, заплачу. Но носить н-н-ет! Сегодня в последний раз, будьте уверены.

Она была счастлива соглашаться с ним, подчиняться ему. Его осведомленность насчет Унрата повысила ее уважение к нему до полной растерянности. А теперь, оказывается, он разбирается даже в модах. Он снова заговорил так же изысканно:

— Чем вы должны были стать, сударыня, для этих провинциалов? Властительницей над состоянием, кровью и плотью, обожаемой разорительницей, Семирамидой, уж и не знаю чем! Опьянев от восторга, все добровольно бросаются в бездну, неправда ли?

И видя, что она ничего не понимает:

— Я хочу сказать, что мужчины не заставляют долго себя просить, и вы получаете от них больше, чем вам нужно, от всех без исключения, если я не ошибаюсь, сударыня.

— Ну, вы сильно преувеличиваете. Конечно, мне здесь повезло, и меня довольно многие любят, это верно.

И она выпила; это он должен знать:

— Но чтобы я, как вы, видно, воображаете, со всеми здесь сходилась, ну н-н-ет... Не подумайте, — и она взглянула ему прямо в глаза — будто многим выпадает счастье сидеть со мной вдвоем в кафе.

— Но мне оно выпало? Значит, теперь моя очередь?

Он закинул голову и нахмурил лоб. Ее смущенный взгляд скользнул по его опущенным векам.

— Но,— продолжал он,— если мне не изменяет память, я должен быть у вас последним? Разве в свое время вы не обещали мне этого очень часто, сударыня? Значит, — и он вдруг бесстыдно открыл глаза,— со всеми остальными вы уже покончили?

Она не обиделась; ей только стало очень больно.

— Ах, какой вздор! У вас совершенно неправильное представление. Люди просто болтают. Например, Бретпот. Говорят, будто я бог знает как его обобрала, а теперь еще выдумали, что он и деньги Эрцума... ах, боже мой!

Спохватившись, она испуганно уставилась в свою чашку.

— Это, несомненно, хуже всего, — жестко и мрачно сказал Ломан. Он отвернулся, и наступило молчание.

Наконец, актриса Фрелих осмелилась робко сказать:

— Ведь не я одна виновата. Если бы вы знали, как он клянчил. Как ребенок, уверяю вас. Старая развалина! В чем только душа держится! Вы не поверите, но он хотел бежать со мной. Он, со своей сахарной болезнью, благодарю покорно!

Ломан уже сожалел о некстати овладевшем им моральном порыве на таком занимательном спектакле. Поэтому он сказал:

— Я бы в самом деле хотел взглянуть на ваши вечера.

— Ну, значит, считайте себя приглашенным! —

ответила она быстро и радостно.— Обязательно приходите, буду вас ждать. А теперь мне нужно уходить, оставайтесь здесь. Ах, господи... нет... нельзя!

Сложив руки, она горестно завертелась на стуле.

— Ничего не выйдет, потому что Унрат сказал, что у нас уже полный комплект гостей и новых он не желает. Он мне уже раз устроил скандал. Поэтому... вы понимаете?

— Отлично понимаю, сударыня.

— Ах, пожалуйста, не притворяйтесь оскорбленной невинностью. Ведь вы можете навестить меня, когда никого не будет. Например, сегодня в пять часов. Ну, а теперь до свидания!

И со всеми признаками страшной спешки она, шурша шелком, скрылась за портьерой.

Ломан не понимал, как это могло случиться; как могло случиться, что ему даже захотелось пойти. Он предположил, что это объясняется притягательной силой чужой гибели. Именно потому он шел, что из-за этой маленькой забавной Киприды с ее добродушным простонародным цинизмом Эрцум был близок к гибели: Эрцум все еще ее любил. За свои деньги он мог бы, по крайней мере, быть счастливым. А Ломан шел к ней абсолютно равнодушный, без малейшей искорки в душе. Он шел вместо своего друга, заслужившего ее продолжительным страданием. Как невозможно было бы это два года назад! Он вспомнил, что почувствовал тогда сострадание к Унрату, — старик, участь которого была уже предreshена, еще трозил ему исключением из школы, — искреннее, сов-

сем не злобное сострадание. А теперь он шел к его жене! Что делает с человеком жизнь, еще раз подумал Ломан меланхолически и гордо.

Его встретила несущаяся из глубины квартиры громкая ругань. Горничная смущенно открыла перед ним дверь в гостиную. Ломан увидел перед очень взволнованной актрисой Фрелих вспотевшего человека с листком бумаги в руке.

— Что вам нужно? — обратился к нему Ломан. — Ах так. Сколько? Пятьдесят марок! И из-за этого такой шум!

— Но, сударь, — возразил кредитор, — я был здесь уже пятьдесят раз, это выходит по разу из-за каждой марки.

Ломан заплатил и отпустил его.

— Не сердитесь, сударыня, за мое вмешательство, — сказал он несколько принужденно. Он попал в ложное положение; все, что он теперь от нее получит, будет расплатой за оказанную услугу. Но в таком случае, невозможно ограничиться пятьюдесятью марками; против этого восставало его тщеславие.

— Раз уж я осмелился быть дерзким, сударыня... мне говорили, не знаю — правильно или нет — что вы находитесь в затруднительном материальном положении.

Актриса Фрелих судорожно сплетала и расплетала пальцы и беспомощно вертела головой над высоким воротником своего tea gown. Она вдруг припомнила наполняющую ее жизнь мучительную возню с постав-

щиками, любовниками, ростовщиками, а там в протянутом ей бумажнике лежала толстая пачка кредиток.

— Сколько? — спокойно спросил Ломан и осторожно добавил: — Я дам вам, сколько смогу.

Но борьба актрисы Фрелих кончилась; она не хотела, чтобы ее покупали, особенно Ломан.

— Нет, это неправда, — сказала она. — Мне ничего не нужно.

— Тем лучше. В противном случае я считал бы себя польщенным, сударыня...

Он мельком подумал о Доре Бретпот, о том, что теперь она тоже нуждается и, кто знает, может быть, ее тоже можно получить за деньги... Чтобы оставить актрисе Фрелих возможность выбора, он положил открытый бумажник на стол.

— Сядем, наконец, — сказала она и весело прибавила, меняя тему разговора:

— Ну и набит же ваш бумажник!

И видя, что он погрузился в ледяное молчание:

— Как же вы избавитесь от всех этих деньжищ? Ведь вы не носите даже колец!

— Я никогда и не избавлюсь.

И он объяснил, не заботясь, понимает ли она его:

— Я не плачу женщинам потому, что не хочу унижать самого себя. Впрочем, — это и бесполезно. С женщинами дело обстоит так же, как с произведениями искусства, за которые я бы отдал все на свете. Но разве ими можно обладать? Увидишь их в магазине и уходишь с мечтой в сердце. Может быть, потом

и возвращаешься и покупаешь. Но что покупаешь? Мечта не нуждается в деньгах, а ее воплощение их не стоит.

Он сердито отвернулся от бумажника и перевел свою речь на более популярный язык.

— Я хочу сказать, что на другой день мне все приедается.

Проникнутая благоговением и чувствуя перед лицом своего идола крошечное желание поиздеваться, актриса Фрелих заметила:

— Значит, вы не покупаете ничего, кроме еды и питья?

— А вы можете мне посоветовать что-нибудь другое? — и, нахмутив лоб, он вдруг так бесстыдно посмотрел ей в глаза, точно спрашивал: «Вас купить, вас?» И пожал плечами, отвечая на невысказанное:

— Чувственная любовь — просто отвратительна.

Она страшно смутилась. Потом робко осмелилась найти это смешным и сказала:

— Ну, уж нет.

— Надо подняться над этим, — решительно заявил Ломан. — Возвыситься и очиститься. Ездить верхом, как Парсифаль. Вероятно я буду служить в кавалерии и одновременно поступлю в школу высшей верховой езды. Не считая цирковых наездников, во всей Германии не наберется и ста человек, знающих высшую верховую езду.

Теперь она откровенно рассмеялась.

— Но тогда вы станете циркачом и будете в некотором роде моим коллегой. Вот здорово!

И вздохнув:

— Помните «Голубой ангел»? Это было все-таки самое лучшее.

Ломан казался озадаченным.

— Возможно,— сказал он задумчиво,— что это действительно было самое лучшее. Если говорить о том времени в целом.

— Можно было смеяться вволю, и не нужно было воевать со всей этой бандой. Как вспомню, как мы с вами танцевали, а потом пришел Унрат, и вам пришлось спастись через красное окно. Знаете, он все еще здорово на вас злится—она взволнованно засмеялась—и хочет изрубить вас на котлеты.

Она все время к чему-то прислушивалась и при этом укоризненно поглядывала на Ломана, потому что он все предоставлял ей одной. Ну, в таком случае она и сама справится! Она забрала себе в голову Ломана: главным образом потому, что все были ей разрешены, кроме одного-единственного. Это было нестерпимо. И еще потому, что зародившаяся еще в те скромные времена, о которых она теперь вспоминала со вздохом, капелька упрямого влечения к нему сохранилась, благодаря подозрениям и чудовищной ненависти Унрата, до сих пор и теперь под влиянием огромного превосходства Ломана и его необычайной утонченности выросла до головокружения. Атмосфера вокруг нее была насыщена катастрофами, и ускорение момента их взрыва, щекотало ее нервы.

— А сколько чувства было в стихах, которые вы тогда писали! — сказала она.— Теперь вы, конечно, стихов уже не пишете? Помните песенку о крутлой

луне, которую я как-то исполнила, публика еще так глупо смеялась?

Она мечтательно склонилась над ручкой кресла, прижала пальцы правой руки к груди и запела высоким и тихим голосом:

Луна кругла и звезды все сияют...

Она пропела всю строфу и все время думала о том, что это единственная песнь в мире, которую она не должна петь; перед ее глазами неотвязно стояло лицо Унрата. Страшное лицо; но немножко смешно подрумяненное, а коробочку „bellet“ с зеркальцем Унрат держал в руках.

И плачет сердце, звезды же смеются...

Неприятно задетый Ломан пытался ее остановить, но она начала вторую строфу:

Луна кругла...

Вдруг с треском распахнулась дверь, и длинным скользящим прыжком в комнату ворвался Унрат. Пронзительно взвизгнув, актриса Фрелих метнулась в угол за стул Ломана. Унрат молчал, он задыхался; и она увидела его совершенно таким, каким он представлялся ей во время пения. У него опять были вчерашние жуткие глаза. Почему не захотел он настоя из ромашки, подумала она в смятении.

Унрат думал: все кончено. Напрасен был весь его труд, весь его карающий разрушительный труд, раз в конце концов Ломан все-таки сидит у артистки Фрелих. Он противопоставил ее всему человечеству,



трудился над тем, чтобы все, вырванное у других, принадлежало ей; а она тем временем претворяла в действительность его самые мучительные галлюцинации о ней и Ломане, олицетворявшем все самое худшее, все наиболее ненавистное. Что же остается? С артисткой Фрелих — конечно; значит — конечно, конечно и с Унратом. Он должен приговорить ее к смерти и значит — самого себя.

Он не произнес ни слова — и внезапно схватил ее за горло! При этом он хрипел, как будто его самого душили. Когда он на мгновение выпустил ее, чтобы перевести дыхание, она закричала:

— Чувственная любовь ему противна, он сам сказал!..

Унрат снова вцепился в нее. Но в этот момент его крепко дернули за плечи.

Со стороны Ломана это было как бы нащупыванием почвы; он не был уверен в том, что в этом спектакле и на его долю выпала какая-то роль; ему казалось, что все это происходит во сне. Ведь в жизни такого не бывает. В его представлении причудливое развитие Унрата протекало гладко и до известной степени отвлеченно, как в книге. В нем не было ничего осязательного, реального. Ломан создал по поводу своего бывшего учителя интересную теорию, но вряд ли он знал душу Унрата, ее полеты в бездну, ее чудовищное испепеляющее горение и ее трагическую самообреченность. У Ломана слишком поздно открылись глаза, и его охватил страх, страх перед действительностью.

Унрат повернулся к нему. Воспользовавшись этим,

актриса Фрелих отскочила, с визгом ринулась в соседнюю комнату и с шумом заперла дверь. Мгновенье Унрат казался оглушенным, потом он сорвался с места и начал кружить вокруг Ломана. Чтобы придать себе независимый вид, Ломан отступил к столу, взял свой бумажник и стал его поглаживать. Он старался придумать, что бы ему сказать. Но что за вид у этого существа! Нечто среднее между пауком и кошкой, безумные глаза, по которым стекают разноцветные капли пота, покрытые пеной, трясущиеся челюсти. Не очень-то приятно, когда оно кружится вокруг тебя, вытягивая свои искривленные щупальцы. Что это оно там бормочет?

Унрат неразборчиво бормотал:

— Проклятый... посмел... словить... наконец-то словить... Отдать, все отдать!

И выхватив из рук Ломана бумажник, он выбежал из комнаты.

Ломан все еще стоял, охваченный безмерным ужасом, ибо здесь совершилось преступление. Унрат, этот интересный анархист, совершил самое обыкновенное преступление. Но ведь анархизм — это моральная исключительность и вполне объяснимая крайность, а преступление — результат повышенного состояния обычных человеческих наклонностей и аффектов, и в общем тут нет ничего непонятного. Но Унрат пытался в присутствии Ломана задушить свою жену и ограбить самого Ломана. И комментатор пришел в замешательство, а наблюдателю изменила его благосклонная улыбка. Ломан, еще никогда не проходивший через такое испытание, отбросил весь свой индивидуализм

и на «преступление» ответил совсем буржуазно: «полицию!» Правда, в нем теплилось сознание, что это не особенно оригинальный выход, но он сказал себе «это предел!» и решительно перешагнул через все сомнения. Да, шаги Ломана были решительны, когда он подходил к двери в соседнюю комнату. Он ясно слышал, как актриса Фрелих заперлась, но считал своим долгом окончательно удостовериться, что после его ухода она не попадет в руки своего преступного мужа... Потом Ломан ушел.

Прошел час, и на углу стала собираться непрерывно растущая толпа. Город ликовал: арест Унрата был решен. Наконец-то! С устранением соблазна горожане освобождались от гнета собственной порочности. Придя в себя и оглянувшись на бесчисленные трупы вокруг, они находили, что давно пора. Почему, собственно, медлили так долго?

Заставленная пивными бочками телега заняла половину улицы, и мимо нее с трудом протиснулась карета: в ней сидели полицейские. Следом бежала торговка фруктами, а господин Дрэге притащил свой резиновый шланг.

Перед домом Унрата редела толпа. Наконец, он появился в сопровождении полицейских. Растрепанная, растерянная актриса Фрелих, вся в слезах, полная судорожного отчаяния, раскаяния и неслыханной покорности, цеплялась за него, висла на нем, растворялась в нем. Она тоже была арестована, чего Ломан не предвидел.

Унрат посадил ее в закрытую карету с опущенными занавесками, в которой было совершенно темно; его глаза растерянно блуждали по ревущей толпе. Возчик пива высунул из-под кожаного навеса бледное озорное лицо и пропищал:

— Полна телега унрата!

Унрат рванулся за этим словом, которое было уже не венком победителя, а пущенным в него комом грязи,— и узнал Кизелака. Вытянув шею, задыхаясь, он погрозил ему кулаком. Но струя из шланга господина Дрэге ударила ему прямо в рот. Он захлебнулся водой, получил толчок в спину, споткнулся о подножку кареты и упал около актрисы Фредих в темноту.

**ЧИТАТЕЛЬ:**

*Сообщите Ваш отзыв об этой книге,  
указав свой возраст, профессию,  
где работаете и адрес,*

*Государственному издательству  
„Художественная литература“  
(Массовый сектор)*

*Москва—Центр, ул. 25 Октября, 10/2*

*Редактор Р. Мостовенко  
Технические редакторы  
Т. Гончарова и О. Чеботарева  
Корректурa бригады Н. Пригоровского  
Художник Б. Титов*

Сдано в набор 7/VIII 1936 г. Подписано  
к печати 5/I 1937 г. Изд. № 313.  
Инд. X-50. М.21. Заг. тип № 675.  
Форм. 72×105<sup>3</sup>/<sub>2</sub> д. 8<sup>3</sup>/<sub>4</sub> ш. л. 9,5 авт. л.,  
11,45 уч.-авт. л. Тираж 20.000 Уполн.  
Главл. Б 6404 Текст отпечатан на  
бумге Окуловского пещчб. мажлого  
комбината им. Ярославского

\* .

Цена 2 руб. 75 коп. Переплел 1 рубль.

\*

1-я тип. Гос. воен. изд-ва НКО СССР.  
Москва, пр. Сиворцова-Степанова, д. 8

Op. 51.